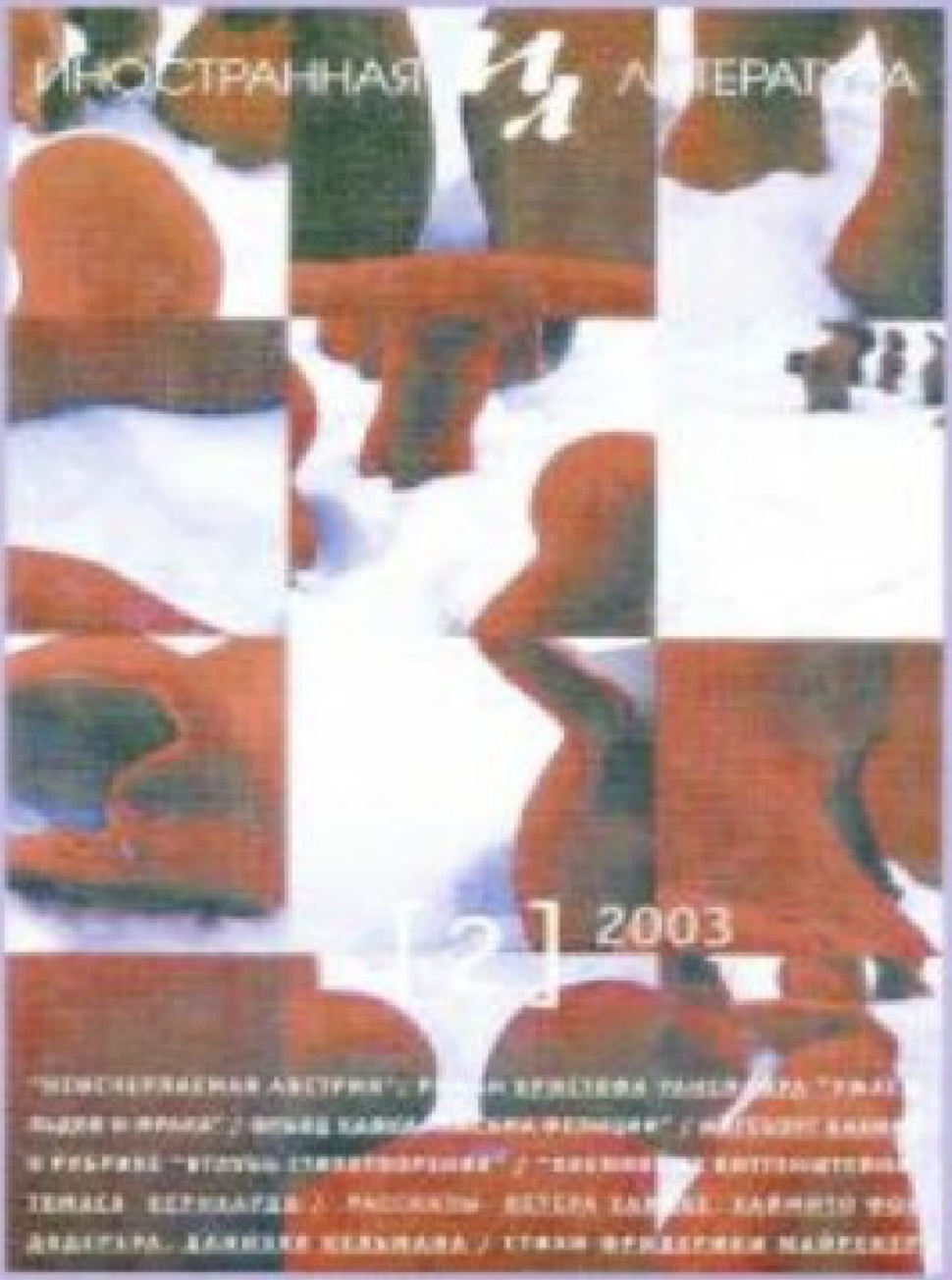
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
2003

SHOUT
SHARE
IT

- Петер Хандке
  - От переводчика
  - Опыт познания природы jukebox
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

Петер Хандке
Опыт познания природы jukebox [1]
Эссе

От переводчика

Несколько лет назад журнал «Иностранная литература» опубликовал эссе Петера Хандке «Опыт познания усталости», который заканчивался обещанием автора написать эссе о музыкальных автоматах. Вместе с эссе «О счастливо сложившемся дне» эти три работы составили небольшой томик ассоциативной прозы Хандке под общим названием «Три опыта». Музыкальные автоматы — целый пласт культуры XX века. Появившись в самом его начале в Америке, они пережили бурный расцвет в 30-е годы, распространившись повсеместно и олицетворяя собой «музыку для миллионов». Вторая мировая война приостановила победное шествие музыкальных автоматов по миру, но с 50-х годов они снова обрели популярность, причем сам модельный ряд претерпел существенные изменения: вместо ограниченного числа «сорокапяток» сегодня в них можно заложить более двухсот песен на пластинках и компакт-дисках. Старые же модели стиля «ретро» стали предметом коллекционирования. Путешествуя по миру и разыскивая повсюду дорогие ему «неодушевленные предметы» его юности, Хандке создает в свойственной ему манере зарисовок мозаичные картины времени, места действия и характеры людей, поразительно откровенно раскрывает при этом собственную творческую лабораторию, историю возникновения замысла и планы его реализации.

Это эссе было переведено во многих странах мира, а несколько лет назад в Сории — главном месте действия — созвали даже международную конференцию переводчиков, работавших на разных языках над этим текстом. Американское слово «jukebox», принятое во всем мире для обозначения музыкального автомата, вошло в немецкий язык, согласно правилам грамматики, как существительное женского рода, чем и объясняется возможность использования в качестве эпиграфа строчки из популярной песни Леннона.

Опыт познания природы jukebox

Dar tiempo al tiempo[2]
Испанская поговорка

And I saw her standig there[3]
Леннон/Маккартни

Намереваясь приступить наконец к написанию давно запланированного «Опыта познания природы jukebox», он купил на автобусном вокзале в Бургосе билет до Сории. Посадка производилась с крытой стоянки во внутреннем дворе; по утрам, при одновременном отправлении нескольких рейсов на Мадрид, Барселону и Бильбао, там скапливалось много народу; сейчас же, ближе к полудню, здесь стоял только один автобус на Сорию с редкими пассажирами и открытыми, зияющихми пустотой багажными люками над выемками для колес. Когда он передавал свой чемодан стоящему рядом с ним водителю — а может, кондуктору? — тот сказал «Сория!» и легонько коснулся его плеча. Ему хотелось побольше узнать о конечной цели своего путешествия, и он принялся ходить взад-вперед вдоль автобуса, пока мотор еще не взревел. Продавщица «счастливых» билетиков, с самого утра шнырявшая в толпе, теперь, когда никого не было, больше не показывалась; он представил ее себе во время трапезы где-нибудь рядом с рыночным павильоном Бургоса: на столе — стакан темно-красного вина и пачка лотерейных билетиков в канун Рождества. На асфальтовом покрытии внутреннего двора автовокзала осталось жирное пятно от сгоревшего топливного масла; выхлопная труба одного из уже исчезнувших из виду автобусов отфыркивалась здесь, вероятно, довольно долго: на толстом черном слое гари отпечатались следы множества пар обуви и чемоданов на колесиках, изъездивших или истоптавших его вдоль и поперек; вот и он тоже пересек это черное пятно, а все, собственно, только ради того, чтобы добавить отпечаток своих ботинок к следам других, тайно надеясь, что удастся привлечь этим перед началом задуманного доброе предзнаменование на свою сторону. Самое же странное во всем том было, что, с одной стороны, он уговаривал себя, будто его задумка разобраться в природе jukebox — дело само по себе второстепенное и как бы ненужное, а, с другой стороны, он, как всегда перед тем, как начать писать, испытывал беспокойство и тоску и невольно искал для себя спасение в приметах и предзнаменованиях, хотя ни на минуту не верил в них и много

раз запрещал себе это, пресекал в зародыше, вот как сейчас, одернув и приструнив себя всплывшей в памяти репликой о природе суеверности из «Характеров» Теофраста[4], которого как раз читал дорогой сюда: суеверие — это своего рода трусость перед лицом Божественного. И тем не менее отпечатки этих многоликих подошв вместе со всем разнообразием их фирменных марок, напластованных тут одна на другую, словно роспись белым по черному, и делавшихся за чертой пятна сразу невидимыми, складывались в некий образ, который уже можно было взять с собой, отправляясь в дальний путь.

А то, что он хотел приступить к написанию этого «Опыта» именно в Сории, было запланировано им давно. Сейчас стояли первые числа декабря, а до того, еще весной, во время полета над Испанией он наткнулся в каком-то иллюстрированном журнальчике на рассказ об этом далеком городе на Кастильском плоскогорье: Сория, оказавшаяся вследствие своего географического положения вдали от больших международных трасс, пребывала почти целое тысячелетие за бортом истории, став самым тихим и забытым местом на Пиренейском полуострове; в центре города и на окраине, а также за городской чертой по совершенно пустынной местности разбросаны отдельные домики, а иногда даже и архитектурные сооружения с сохранившимися в них старинными скульптурными памятниками, отмеченными признаками романтики; однако, несмотря на свои малые размеры, Сория — столица, главный город одноименной провинции; в Сории жил в начале XX века (сперва в качестве учителя французского, потом — молодого супруга, еще позже — вдовца) воспевший в своих стихах эту местность во всем своеобразии ее проявлений поэт Антонио Мачадо; Сория, расположенная на высоте свыше 1000 м, омывается у подножия своих стен очень медленной в здешнем своем верхнем течении рекой Дуэро, по берегам которой мимо «поющих» тополей (álamos cantadores), названных так Мачадо в честь голосистых соловьев (ruiseñores) в их густой листве, и между сужающимися до каньонов скалистыми отвесными стенами — согласно все тому же описанию в иллюстрированном журнале — пролегали широкие дороги, уводя еще дальше в неизведанное…

С помощью «Опыта познания природы jukebox» он намеревался наконец-то разобраться со значением этого явления для него на разных фазах его уже немолодой жизни. При этом почти никто из его знакомых, кого он спрашивал об этом в последние месяцы — своего рода игровой тест на маркетинг в изучении проблемы, — не знал, с какой стороны подойти к этому

волнующему его вопросу. Одни, среди них, кстати, и пастор, только пожимали плечами да качали предосудительно головой, как такой предмет вообще может вызывать интерес, другие принимали jukebox за игровой автомат, третьи просто никогда не слышали такого слова и начинали понимать, о чем идет речь, только лишь после разъяснений про «ящик с музыкой в кафе, куда бросают монетку». Но как раз именно такое невежество и полное равнодушие — опять же после первого разочарования, что не все пережили нечто подобное тому, что пережил он, — побуждали и провоцировали его еще больше заняться изучением этого явления или хотя бы отреагировать на брошенный ему упрек; к тому же складывалось впечатление, что время этих самых jukebox в большинстве стран и городов уже давно прошло (да и сам он, возможно, постепенно выходил из возраста, когда стоят перед автоматами и жмут на клавиши).

Конечно, до того он проштудировал так называемую специальную литературу о jukebox, намереваясь, правда, большую часть из всего прочитанного забыть тут же на месте — при написании стоило, должно быть, учитывать прежде всего только свидетельства очевидцев. К тому же из всей литературы нашлось мало что путного, и главным трудом оставался пока — во всяком случае, так было до сих пор — изданный в 1984 году в Де-Мойне, далеко на американском центральном Северо-Западе, «Complete Identification Guide to the Wurlitzer Jukeboxes»[5], автор Рик Боттс. Что мог вынести читатель путеводителя из истории этих самых jukeboes, состояло приблизительно в следующем: во времена «сухого закона» в Америке двадцатых годов в барах, где незаконно торговали спиртными напитками — в так называемых «speakeasy»[6], — впервые установили также и музыкальные автоматы. Происхождение слова «jukebox» — «джукбокс» — остается неясным: то ли от «джут», то ли от глагола «tojook», имеющего африканские корни и означающего не что иное, как «танцевать». Во всяком случае, дело было так: после работы на джутовых плантациях «черные» с Юга собирались в так называемых «jute-joints» или «juke-joints»[7] и слушали там, бросив в музыкальный автомат никелевую монетку в пять центов, Билли Холидей, Джелли Ролла Мортона и Луи Армстронга, которых никогда не исполняли по радио, находившемуся в руках белых. «Золотой век» для jukebox начался с отмены «сухого закона» в тридцатые годы, когда повсюду возникали, словно грибы, маленькие питейные заведения, даже в табачных лавках и парикмахерских стояли тогда автоматизированные музыкальные проигрыватели с набором пластинок — из-за их малых габаритов, размером с кассу, их и размещали рядом с ней прямо на стойке.

Этому расцвету пришел потом конец, прежде всего, из-за начавшейся мировой войны, когда на материалы, из которых изготавливали jukebox — и прежде всего пластмассу и сталь, — было введено ограничение. Металл заменило тогда дерево, а с середины войны вся промышленность вообще стала работать только на вооружение. Так, ведущие фирмы-изготовители музыкальных инструментов «Вурлитцер» и «Зебург» производили теперь антиобледенители и электромеханические части для самолетов.

Самостоятельной главой истории стала форма музыкальных проигрывателей — именно этим они должны были выделяться из безрадостного «серого окружения». Важнейшей фигурой на фирме становится, соответственно, дизайнер: если у «Вурлитцера» основу конструкции составляло что-то вроде полуциркульной арки, то фирма «Зебург» прибегала, как правило, к прямоугольному корпусу с колпаком наверху, при этом, по-видимому, действовал неписаный закон, согласно которому каждая новая модель могла лишь настолько отличаться от предыдущей, чтобы та непременно просматривалась и узнавалась в ней; именно по этой причине с треском провалилась однажды особенно необычная модель музыкального автомата, напоминавшего внешне обелиск, где наверху вместо головы или языков пламени размещалась тарелка с динамиком и оттуда вырывалась музыка, устремляясь в потолок. Поэтому варьировались исключительно только формы игры света, исходящего от jukebox, и детали оформления корпуса: павлин в центре автомата, весь переливающийся красками; пластмассовые поверхности, прежде — просто цветные, ныне — с мраморными прожилками; декоративная панель, до сих пор — имитация бронзы, теперь — хромированная; скругленные углы тоже в совершенно новом качестве: из прозрачных люминесцентных трубок, по которым безостановочно спускались и поднимались большие и маленькие водяные пузырьки — «живые картинки Пола Фуллера»; так читатель, он же зритель, прослеживавший эту эволюцию форм, узнал наконец и имя главного героя, осознавая, что подсознательно давно уже хотел знать его, с того самого первого момента, когда в изумлении застыл однажды перед такой сияющей всеми цветами радуги громадиной где-то в мрачной комнатенке на задах.

Путь автобуса от Бургоса до Сории шел на восток, пересекая почти безлюдную Месету. Казалось, что, несмотря на многие свободные места, в автобусе собралось гораздо больше народу, чем попадалось его там, за окном, на этом лысом плоскогорье. Небо было серым и пасмурным, редкие поля между скалами или

сплошными пластами рыжей глины лежали невозделанными. Молоденькая девушка в автобусе щелкала семечки, как обычно это делают во всех испанских кинотеатрах или во время прогулки, с серьезным выражением лица и мечтательно распахнутыми глазами, не останавливаясь ни на минуту, шелуха сыпалась непрерывным дождем; группа молодых парней со спортивными сумками все время подносила водителю в кабину новые кассеты со своей музыкой, а тот охотно запускал их вместо послеполуденной радиопрограммы, в динамики, закрепленные над каждой парой кресел; единственная пожилая пара в автобусе сидела не произнося ни слова и не двигаясь, а мужчина, казалось, даже не замечал, когда кто-либо из парней каждый раз, проходя мимо, неумышленно толкал его; даже когда один из юношей вскочил, громко заговорив, вышел в проход и облокотился, что-то энергично объясняя, на спинку сиденья старика и принялся жестикулировать прямо у него под носом, тот терпел не шевелясь, даже не отвел в сторону газету, края которой заворачивались от сильного движения воздуха, создаваемого размахивающим руками парнем. Вышедшая из автобуса девушка уже шла в полном одиночестве по голой макушке холма, закутавшись в плащ, по бездорожью степи, где не было ни единого дома на горизонте; на полу под ее сиденьем осталась горстка шелухи от семечек, на удивление куда меньшая, чем можно было ожидать. Чуть позже на высокогорном плато замелькали светлые дубовые рощицы, деревья казались маленькими, ростом с кустарник, густая увядшая листва приняла серый цвет и дрожала на ветру, а после одного неприметного перевала — в испанском, как узнал путешественник из своего карманного словарика, то же слово означало еще и «гавань», — служившего границей между провинциями Бургос и Сория и защищенного с обеих сторон стволами поблескивающих рыжиной сосен, зацепившихся корнями за скалистую верхушку (многие из них стояли как после сильной бури, наполовину вывороченными из небольшой полоски земли и даже расщепленными надвое), пространство снова раздвинулось, ибо даже и эта «защита» дороги вскоре исчезла, уступив место повсюду доминирующей степной пустоши. Через какие-то промежутки пути дорогу перерезали рельсы, заметно заржавевшие — следы заброшенной ветки между двумя городами, местами уже залитой гудроном, шпалы заросли травой или вовсе скрылись под наслоением земли и песка. В одной из деревень, невидимой со стороны проселочной дороги из-за каменистых отрогов гор, которые автобус, петляя, все время объезжал, высаживая пассажиров и становясь все более пустым, и вынужденно возвращаясь назад, чтобы наконец-то попасть в нее,

криво висевшая табличка с названием переулка непрестанно била на ветру в стену дома, на котором была укреплена; в окне деревенского бара он не увидел ничего, кроме жестикулирующих рук картежников.

В Сории было холодно — еще холоднее, чем в Бургосе; а по сравнению с морским курортом Сан-Себастьяном, где он накануне вступил на испанскую землю, здесь стоял просто собачий холод. Но снег, на который он рассчитывал здесь как на явление природы, сопровождающее задуманную им авантюру, с неба не падал, вместо него моросил холодный дождь. На продуваемой всеми ветрами автобусной станции он тут же списал себе расписание рейсов на Мадрид или по крайней мере на Сарагосу. Выйдя на транзитную дорогу на окраине города, он оказался между маленькими, приготовившимися завалиться домишками, возводимыми рядом с ними новостройками в лесах и заваленным щебнем и мусором пустырем (обычно импонировавшим ему), среди шума и рева вереницы груженых контейнеров, словно привязанных друг к другу одной веревочкой, из-под колес которых летели брызги и комья жирной дорожной грязи; у всех машин были сплошь испанские номера, когда же он вдруг увидел среди них английский номерной знак, а за ним и понятный с первого же взгляда, но абсолютно непереводимый сленг — рекламу на брезенте, на душе у него стало тепло, и он почувствовал себя на какой-то момент словно дома. Нечто подобное он уже однажды испытал еще раньше во время своего длительного пребывания в чужом испанском городке, где никто вокруг не понимал ни слова на другом языке и где не было ни одной иностранной газеты, тогда он искал для себя иногда убежище в китайском ресторанчике, где еще меньше понимал язык, но чувствовал себя там странным образом как бы защищенным от плотно обложившего его со всех сторон испанского.

Начало смеркаться, контуры предметов стали расплываться. На дорожных указателях можно было прочесть только обозначение направления на дальние крупные города, такие, как Барселона и Вальядолид. Так он и шел, теперь уже довольно долго, с тяжелым чемоданом вниз по улице, подумывая о том, что, пожалуй, останется в Сории до наступления Нового года; он уже не раз сталкивался с тем, что центры именно таких, на первый взгляд, можно сказать, испанских городов-невидимок находились где-то далеко внизу, скрывшись за безлюдными районами, почти без признаков жилья, запрятавшись в долины, расположенные вдоль берегов иссякших рек. Эту ночь, во всяком случае, он проведет здесь; и он тут же устыдился сам себя:

получается, будто он хотел, находясь уже здесь, все же удостовериться, что город действительно существует, и вроде бы отдать ему должное (в этот момент, когда он, перекладывая через каждую пару шагов чемодан из одной руки в другую, старательно пытался увернуться от столкновения со спешащими навстречу местными жителями, уже начавшими свой вечерний марафон по исхоженной прямой, он потерпел неудачу), а кроме того, что касалось его «Опыта познания природы jukebox» и вообще отведенного им на то времени, он опять принялся внушать себе — как уже частенько раньше, — неоднократно повторяя одно и то же, а сейчас прибегая даже к греческому слову, почерпнутому при чтении из книги Теофраста, что все это «s-cho-lazo, s-cho-lazo»[8].

При этом он думал только о бегстве. То один, то другой его друг предлагали ему, уже несколько долгих лет скитавшемуся неприкаянным, для осуществления его намерения то двухкомнатную квартиру, то пустующий в преддверии зимы трехкомнатный загородный домик — кругом полная тишина и в то же время привычная цивилизация, а прежде всего язык его детства, сулящий вдохновение (одновременно и утешение), пожалуйста, все доступно и в любой момент можно дойти пешком до любого видимого горизонта. Но его мысли о бегстве исключали всякое возвращение назад. О немецкоязычном окружении сейчас не могло быть для него и речи, и даже, к примеру, о Ла-Рошели, где он всего несколько дней назад при виде безбрежной Атлантики, низеньких беленьких домов, множества кинотеатров, безлюдных боковых улочек, башни с часами в старой гавани, напомнившей ему Жоржа Сименона и его интригующие книжки, почувствовал себя, несмотря на доступный ему французский, абсолютно чужим на площади, и даже о Сан-Себастьяне с его таким теплым воздухом и хорошо обозримой бухтой-подковой в Бискайском заливе, показывающем порой свой дикий норов, как он это увидел собственными глазами ночью, когда волны прилива шумели и пенились у берегов реки басков Урумеи, порываясь повернуть ее течение вспять, середина же реки, напротив, бурлила, устремляясь потоками к морю, а в это же время в неком баре, холодном и неосвещенном, словно бездействующем много лет подряд, стоял jukebox испанского производства — громоздкий и нескладный, почти без всякого декора… Может, это было все-таки своего рода насилием, когда он запрещал себе такие формы бегства, любое отступление назад, заставляя себя думать только о дальних маршрутах, наперерез через весь континент, — и насилие это, возможно, состояло еще и в том, что, оставаясь какое-то время ангажированным темой, не будучи связанным при этом по рукам и ногам узами договорных

обязательств, он тем не менее полагал, что ради намерения начать писать, если тому вообще было оправдание, ему необходимо каждый раз регулярно подвергать себя такому испытанию и отправляться в дикие места, которые сначала еще предстояло обживать, ежедневно загоняя себя в жизненные обстоятельства, чреватые пограничными ситуациями, способными опасно обостриться, и к тому же, наряду с первой задачей — сесть и писать, дополнительно вырастала всегда еще и вторая — некое подобие рекогносцировки или промера незнакомого места, а также вхождение одному, без преподавателя, в язык, который, по возможности, должен был оставаться совершенно чужим.

Однако сейчас он хотел убежать подальше не только от этого города, но и от своей темы тоже. Чем неотступнее он приближался к Сории, месту, выбранному им для написания «Опыта», тем ничтожнее казался ему предмет его устремлений — jukebox. Заканчивался 1989 год, когда в Европе, казалось, день ото дня многое становилось проще и легче и в отношениях между странами тоже все так чудесно менялось, что он даже представил себе кого-то, кто некоторое время прожил без мировых новостей, ну например, добровольно укрылся от всех, уйдя с головой в исследовательскую работу, или находился после аварии в течение нескольких месяцев в коме, а потом взял в руки первую попавшуюся газету и тут же принял ее за специальный выпуск, в котором ему пытаются втереть очки, будто сокровенные мечты закабаленных и разделенных народов европейского континента за одну ночь стали реальностью. Этот год даже для него, с его происхождением из безвременья и детством, равно как и юностью, которых, можно сказать, не было, уж во всяком случае прожитых с большими лишениями, с точки зрения исторических событий (и празднования их с задранным вверх подбородком) был годом, что войдет в историю: вдруг случилось так, будто история — наряду со всеми другими формами ее выражения — может стать еще и сказкой, которую она сама про себя рассказывает и которая оказывается самой правдивой и самой реальной, самой неземной и одновременно самой-самой земной из всех существовавших сказок. Несколько недель назад в Германии один знакомый в сильном возбуждении от внезапного прорыва берлинской стены, торопясь оказаться на месте прорыва и стать «непременным очевидцем истории», наседал на него, чтобы он поехал с ним и «смог засвидетельствовать эти события лично как человек, компетентный в сфере образного мышления и литературного языка», а он? — он тут же выдвинул в качестве контраргумента свою «работу, изучение материала, предварительную подготовку и т. д.», и все это инстинктивно,

прямо-таки страшась и обороняясь, не допуская даже самой такой мысли (правда, сразу представив себе, как на следующее утро в одной из известных своей незатейливостью газетенок государственной важности появится забранное в рамку первое заказное стихотворение поэтического очевидца случившегося, а еще через день после этого, как полагается, первый политический зонг в придачу). И вот именно теперь, когда история, подобно заветной сказке всего мира и человечества, судя по всему, день за днем продвигалась вперед и неустанно тянула за собой нить рассказа, разматывая волшебный клубок чудес (или это была всего лишь разновидность старой байки про призрак в Европе?), он хотел здесь, вдали от всех, в этом затерянном среди голых степей и скал городе, глухом к гулу истории, перед светящимися повсюду экранами телевизоров — только один раз полная тишина и то во время местных новостей с сообщениями о трагедии на строительных лесах и одном погибшем — попытаться одолеть далекую от жизни и никому не нужную тему, а именно: понять природу jukebox, заинтересовавшую только одного «отшельника мира сего», как он сейчас сам себя называл; заняться этой пустой игрушкой, по свидетельству литературы, пожалуй, «одной из самых любимых у американцев», правда, всего лишь на короткое время «субботней ночной лихорадки» сразу после окончания войны. Можно ли было найти в наше время, когда каждый новый день становился исторической датой, еще кого-нибудь, кто выглядел бы смешнее и даже более помешанным на этой глупой идее, чем он?

Однако по-настоящему серьезно он над этим все же не задумывался. Гораздо больше его занимали мысли о том, насколько этот его ничтожный по значимости замысел вступает в противоречие с тем, что вот уже в течение нескольких лет все сильнее и настойчивее дает о себе знать в самых глубинных его ночных сновидениях. Там, в бездне сковывающих сознание снов это обрушивалось на него с невероятной мощью, и, просыпаясь, он продолжал думать об этом: мировой закон представал перед ним чередой картин — одна следовала за другой. Те сны рассказывали и рассказывали сюжетно — пусть фрагментарно, но монументально, переходя зачастую в обычные ночные кошмары, — повелительно навевая ему глобальный, всемирно-исторический эпос о войне и мире, небесах и земле, Западе и Востоке, массовых уничтожениях и убийствах, угнетении, бунтарстве и примирении, дворцах и притонах, дремучих лесах и дворцах спорта, уходе в безвестность и возвращении в родные пенаты, триумфальном единении чуждых друг другу людей и сакраментальной супружеской любви; и в этом эпосе действовали

бесчисленные, однако четко обозначенные персонажи: хорошо знакомые незнакомцы, сменявшие друг друга за прошедшие десятилетия соседи, дальние родственники, кинозвезды и политики, святые угодники и марионетки, преобразившиеся в снах (приняв свой реальный облик) и продолжившие свою жизнь далекие предки и все новые и новые дети — отпрыски их детей и еще одно дитя, становившееся центральной фигурой эпического повествования. Он сам, как правило, не появлялся среди них, оставаясь зрителем и слушателем. Такими же непреложными, как увиденные картины, были и его чувственные восприятия; просыпаясь, он никак не мог восстановить в памяти некоторые из них, например, благоговение перед чьим-то ясно увиденным лицом, или восторг при виде голубой горы неземной красоты, или даже что-то вроде легковесного обожествления (трансформировавшегося при этом в эмоциональное чувство), ничего иного, кроме как ощущения «вот-он-я»; другие чувства были хорошо ему знакомы, но в таком чистом виде и так образно они посещали его, только пройдя через горнило чувственности, прожигавшей спящего мечтателя, видевшего во сне картины эпических прозрений: как вместо конкретной благодарности он испытывает нечто вроде благодарности *вообще* или *глобальное* сострадание и наивность, ненависть и удивление, дружелюбие и печаль, одиночество и страх перед смертью. Проснувшись, проветренный в снах всеми ветрами до донышка, податливый, как хорошо выстоявшееся тесто, и готовый к новой жизни, он чувствовал окрыляющий полет новых фантазий и их ритмов, которым должен был следовать в своем творческом начинании. И тут вот он, значит, опять, как уже не в первый раз, отложил все в долгий ящик, идя на поводу у других — второстепенных? — тем. (Именно те сны заставляли его задумываться об этом — иных высших инстанций для него не существовало.) А его ухищрения, что до тех пор, пока он ведет кочевой образ жизни, он обречен только на опусы с темой по случаю — в конце концов и детективы Сименона, например, написанные чаще всего в номерах заграничных отелей, тоже как-то не отмечены налетом эпического, — не были ли они снова своего рода упреждением снов, одной из его отговорок, к которым он постоянно прибегал в последнее время? А почему бы ему не осесть наконец на одном месте, все равно где? Разве он не замечал, что его бесконечные скитания зачастую были не чем иным, как хаотическим блужданием? Тогда, когда «Опыт познания природы jukebox» был еще только зарождающейся идеей, в голове у него вертелось высказывание Пикассо, мерещившееся ему в виде подходящего эпиграфа: картины делают так же, как принцы делают детей, — с

пастушками. Никогда не изображай Пантеон, не пиши кресло Людовика XV, а создавай пейзажи с лачугами на юге Франции, натюрморты с пачкой табака и ветхим стулом. Но чем ближе подходило время реализации этого кредо художника, тем менее возможным казалось ему воплощение его на бумаге применительно к предмету его собственного творчества. Чрезмерно властными, чрезмерно эксклюзивными, а потому сверхпритягательными (своим страстным желанием быть переведенными на язык искусства) казались ему всецело захватившие его эпические сны, да к тому же, как это было знакомо ему еще с юности, чем вызывало его постоянное удивление, именно сейчас, в период зимнего солнцестояния, притом из ночи в ночь, железно, так сказать, кондово и надежно, как всегда; стоило ему только впасть в полузабытье, как распахивались ворота для эпических видений, и всю ночь напролет они скандировали ему свои ритмы и навязывали свои образы. А кроме того, что вообще общего yjukebox, пластмассы, цветного стекла и хромированной жести с ветхим стулом или лачугой в поле? Да ничего. Или, может, их всё же что-то объединяет?

Он не знал ни одного живописца, в творчестве которого присутствовал бы, пусть в качестве аксессуара, хоть один музыкальный автомат. Даже на картинах представителей поп-арта и то нет, и, несмотря на их повышенный интерес и пристрастие ко всему заурядному, серийному, не отличающемуся оригинальностью, ко всему второстепенному, они, по-видимому, не считали jukebox достойным их внимания. Стоя перед картинами Эдуарда Хоппера с разрозненными фигурами в ночных барах ничейного города, он испытал что-то вроде галлюцинации: ну есть же они тут, есть, только их замазала кисть художника — вот оно, пустое светящееся пятно. Правда, он вспомнил одного эстрадного американского певца, Джима Моррисона, которому «трубный глас jukebox вечным казался», но все это, прибегая к простонародным выражениям, уже «быльем поросло» и «давно испустило дух».

И еще одно: почему все, что можно сказать о предмете его творческих изысканий, он сразу представляет себе как книгу, пусть и очень маленькую? Разве в его представлении такая вещь, как книга, не предназначалась для отражения — фраза за фразой — естественного света, солнечного сияния прежде всего, отнюдь не для описания отблесков искусственного света, создаваемых скользящими лучами зеркальных шаров, вращающихся в полумраке дискотек. (Так это, во всяком случае, соотносилось с его старомодным, невытравимым из его души понятием о книге.)

И не годился ли мелкий шрифт, согласно его понятиям о книге, скорее для газеты, а лучше всего для той, что выходит раз в неделю, на страницах которой вместе с ностальгией по прошлому можно встретить и цветные изображения всевозможных моделей jukebox во время оно и вплоть до наших дней?

Добравшись до этого пункта своих размышлений, готовый отказаться от всего, о чем за последние месяцы только и думал («Молчи о том, что тебе любо и дорого, и пиши лишь о том, что тебя возмущает и бросает тебе вызов!»), решив жить в самое ближайшее время просто так, ничего не делая, чтобы хотя бы оглядеться на континенте вокруг себя и порадоваться отпущенному тебе времени, он вдруг ощутил удивительное наслаждение от допущенной мысли о бессмысленности своей затеи — свобода! — и одновременный прилив энергии, которую можно будет направить на ничегонеделание и желательно где-нибудь в другом месте, не в этой забытой Богом Сории.

Он снял на одну ночь комнату в отеле, носившем имя какого-то средневекового испанского короля. Почти каждое незнакомое местечко, казавшееся ему в его скитаниях на первый взгляд ничтожным и заброшенным, начинало потом во время блужданий по городу таинственным образом вытягиваться в длину и ширину и представляться кусочком земного шара; «какой большой город!» — удивлялся он каждый раз заново, а иногда даже и «какая большая деревня!» Но Сория, чьи переулки он покинул вечером под проливным дождем, даже и не подумала расширяться, когда он уже прошагал через весь город и стал нащупывать в полной тьме дорогу наверх, где в бывшем замке находился отель; никакой сверкающей авениды; так себе местечко, не показавшее ему в эту ночь ничего, кроме невыразительных стен нескольких жилых коробок в извилинах переулков, даже и после того, как он поблуждал среди баров, заходя в них по очереди, — все они были полупусты уже с раннего вечера, оживление вносили только повторяющиеся везде одни и те же зазывные мелодии игровых автоматов, вызывая в памяти до тошноты знакомый облик маленького провинциального среднеевропейского городка с той лишь разницей, что в черте города чернело большое пятно — опустевший на зиму овал арены для боя быков, да вокруг сгущался сплошной мрак и темень.

Ничего другого — таков был его приговор — здесь больше нельзя было открыть или сотворить заново. Но перво-наперво приятно было идти без багажа. На самом видном месте в витрине книжного магазина лежали только книги Гарольда Роббинса — а почему бы и нет? И где-то на боковой площади блестели около полуночи и бешено махали мокрыми зубчатыми листьями

платаны. И окошки касс обоих кинотеатров — REX и AVENIDA, — похожие на лаз, едва различимый в темноте, размещались, как это принято только в Испании, по фронтону здания рядом с широким входом в кинотеатр, глядя прямо на улиц); и в них каждый раз показывалось наполовину срезанное полуспущенной створкой лицо как бы одной и той же старой женщины. И вино все же не имело привкуса провинциального городка. И рисунок на каменных плитах тротуара в Сории представлял собой переходящие друг в друга квадраты со скругленными углами, тогда как аналогичное покрытие в Бургосе имело форму остроконечных зубцов. И испанское слово «терпеливость» звучало как ecuanimidad. И он все тянул и тянул одну и ту же песню, бесконечно повторяя это слово, произнося его на разные лады вперемежку с греческим глаголом, означавшим «дать себе время».

Во сне являлись сотни лиц и образов: какой-то генерал, он же переводчик сонетов Шекспира, застрелился от тоски из-за несовершенства мира; зайчик перебегает поле; утка плывет вниз по течению; у всех на глазах вдруг исчез ребенок; деревенские жители, дошли слухи, умерли в одночасье, и пастору не осталось ничего другого, как заняться их погребением (собственно, роль слухов в сновидениях удивительна — никто ничего не говорит, никто ничего не слышит, они просто безмолвно разносятся по воздуху); дедушкина кровь из носу пахнет мокрой собачьей шерстью; а вот еще один ребенок со странным именем Дух; кто-то разглагольствует очень громко о том, как важно хорошо слышать в наше время.

На следующий день — по-прежнему лил дождь, и, судя по сообщению в газете Сория, опять оказалась самой холодной провинцией Испании, — он отправился в путь, чтобы попрощаться с городом. Без особого намерения он вдруг остановился перед фасадом, сразу дававшим почувствовать своими размерами и стенами из светлого пористого песчаника возраст сооружения — церковь Санто-Доминго. Какой импульс, какой знак надежности посылали ему эти романтические стены, пропорции которых он мгновенно ощутил — вобрал в себя плечами, бедрами, ступнями, словно это было его собственное, такое сокровенно-родное для него тело. Да, телесность, это было именно то ощущение, с которым он как можно медленнее, зигзагами стал приближаться к церкви, имевшей форму амбара для зерна. Уже с самого первого момента от воздушности сооружения и встроенных в него арок и скульптурных фигур ему передалось, говоря словами Борхеса, «братство прекрасного», но одновременно и охватила боязнь, что он, вот так сходу, готов, так сказать, безоговорочно санкционировать это великолепие, и тогда

он решил отодвинуть свой отъезд — да и куда? — на вечер, а до того прийти сюда еще разок, когда дневной свет, перемещаясь, будет по очереди освещать скульптуры. Пока же он только принялся выискивать вариации среди так хорошо знакомых и привычных для него групповых комбинаций библейских сцен. И конечно нашел их (что не заняло у него слишком много времени); и снова, как и каждый раз при взгляде на романские скульптурные изображения, именно они показались ему тайными знаками незнакомого места. Они попадались ему на глаза здесь, в Сории, повсюду, куда бы он ни глянул: знакомая поза заботливо склоненного Бога-Отца, когда Он помогает подняться на ноги свежеиспеченному Адаму; почти совершенно гладкое в одном месте — на других изображениях все сплошь волнистое — покрывало, под которым спят три священных волхва; акант — лист, имеющий форму раковины, — высотой с дерево, возвышающийся позади пустой могилы Воскресшего; в полукружии над порталом (в контурах каменной фигуры просматривается усмехающийся Отец с миндалевидным венчиком на голове и каменным Сыном на коленях, держащим на вытянутых руках толщенную и такую же каменную книгу) символические животные евангелистов — они не только не опустились на землю у их ног, а даже взобрались на колени к ангелам, и среди них только что созданный лев, и бык, и даже могучий орел…

Удаляясь быстрым шагом, он уже издали бросил взгляд через плечо, и ажурно-воздушное творение архитектуры предстало перед ним — особенно отчетливо в пустом пространстве, — выражаясь языком Карла Валентина[9], висящим «в воздухе»: благодаря этому сооружение, одинаково широкое и низкое (все жилые дома вокруг были выше), с нависшим над ним небом, несмотря на проносившиеся мимо с ревом грузовики, смотрелось идеально; архитектурное творение, совсем иное, чем тяжеловесно застывшие безликие фасады окружавших его домов, производило впечатление изящной игрушки, к тому же еще и заводной, несмотря на абсолютный покой, она словно ожила и заиграла. И у него возникла мысль, что тогда, восемьсот лет назад, во всяком случае в Европе, на протяжении целой общественной формации история человечества как отдельных народов, так и всеобщая, чудесным образом познала просветительство. Или это было только свечение пропускающей сквозь себя божественный свет просвещенной формы (вовсе не архитектурного стиля)? Но как тогда случилось, что возникла такая королевская по совершенству и одновременно такая по-детски наивная форма, ставшая доступной и понятной всем?

Сория, это было очевидно сейчас, при свете дня, лежала меж двух холмов, один — лесистый, другой — лысый, во впадине, спускавшейся к Дуэро; река протекала мимо последних, разрозненно стоявших домов; тот берег занимал массив скалистых гор. Только один каменный мост вел на ту сторону, по нему шла дорога на Сарагосу. Глядя на подпружные арки моста, пришелец одновременно пересчитал их. Поднялся легкий ветерок, задвигались облака. Внизу между голыми прибрежными тополями разгорячившийся пес гонялся то тут, то там за кружащейся опавшей листвой. Камыш стоял, затопленный черной водой, торчало только несколько продолговатых бархатных головок. Чужестранец — чужой? — для здешней местности, как бы проникший сюда, повернул в обратном направлении к знакомой уже ему набережной поэта Мачадо и пошел вверх по течению, естественно — по земле, изрезанной корнями сосен. Тишина, свежее дыхание речной воды на висках (он вдруг вообразил, как какая-то компетентная в этих делах фирма предлагает специально для этой части лица особую ароматизированную эссенцию, чтобы кожа в этом месте тоже смогла ощутить легкое дуновение коснувшегося ее — как бы это поскладнее сказать? — быстротекущего момента, олицетворяющего собой насущный день). Выбравшись из пустоты безлюдия, он выпил в баре на берегу реки, называвшемся «Рио», где за стойкой стоял молодой цыган, чашку горячего кофе. Несколько пенсионеров, которые, согласно испанскому словарю, идентифицировались как «jubilados», были заняты тем, что, поражаясь и восторгаясь, неотрывно смотрели утреннюю программу телевидения. От интенсивного функционирования грузовых междугородних перевозок дрожали чашки и стаканы в руках. В углу стояла небольшая, цилиндрической формы, сужающаяся кверху железная печурка, испещренная по вертикали желобками, в центре с орнаментом, напоминавшим раковину морского гребешка, а в отверстии внизу полыхал огонь и светились раскаленные угли. От каменного пола исходил свежий запах с утра разбросанных древесных опилок.

Выйдя на улицу и поднимаясь вверх по холму, он прошел мимо черной бузины со стволом толщиной с хобот мамонта, короткие светлые ветки образовывали мириады переплетенных и перехлестывающих друг через друга арок. Никаких признаков суеверия — ни таинственных знаков, ни символов: он остался бы в Сории и, как было запланировано, начал бы работать над своим «Опытом». А в промежутках вбирал бы в себя столько, сколько можно, утренних и вечерних впечатлений от этого маленького, легко обозримого города. «Нет, отсюда я не уеду, пока не сделаю

дело!» В Сории он будет наблюдать, как слетают, паря в воздухе, последние листья с платанов. И в пейзаже здесь сейчас царил, как и там внизу, у реки, исходящий от земли прозрачный темный свет, с давних пор настраивающий его на решительный лад и повелевающий ему, не мешкая, отойти в сторонку, сесть и писать, писать, писать — без поисков темы или предмета, и даже, если угодно, о природе jukebox. Выйдя на простор, который начинался тут же, стоило лишь покинуть город, — в какой из метрополий было такое возможно? — он мог бы каждый день перед тем, как сесть писать, вволю наглотаться тишины, ставшей теперь такой необходимой для его стареющей головы, и инспирированные ею фразы гармонично складывались бы и нанизывались одна на другую; а уж потом он отдавал бы себя всего на произвол краха на шоссе или тихим улочкам и переулкам, бродя по городу; никаких подземных переходов, никакого кладбища, никаких баров, никаких спортивных площадок — все это должно остаться со всем своим своеобразием вне поля его восприятия.

Правда, вдруг выяснилось, что именно на это время выпадали какие-то испанские праздники, — следовательно, наплыв туристов, — так что свободные номера в Сории появятся вновь только с начала следующей недели. Но это его вполне даже устраивало, так он сможет еще на немного привычно отодвинуть начало работы; и, кроме того, вынужденный перебраться на время в другой город, он получит возможность составить при отъезде и возвращении более полное представление о географическом положении Сории — такой одинокой и заброшенной на этом плато, — причем с разных направлений, не только с западного, то есть со стороны Бургоса, — он подумал, что для реализации его плана это будет даже полезно. В связи со сложившейся ситуацией у него появилось два свободных дня, и он решил провести один из них в местах к северу, а другой к востоку от города — сначала в Логроньо, районе виноградарства и виноделия Ла-Риоха, а затем, покинув Старую Кастилию, в Сарагосе, главном городе исторической области Арагон: это, во всяком случае, вытекало из диктовавшего ему маршруты автобусного расписания. Но первое, что он сделал — это сел в одной из задних каморок испанского ресторанчика, где всегда чувствовал себя надежно защищенным, потому что там можно было остаться наедине с самим собой, притом что сквозь тонкие дощатые стены и зачастую открытую раздвижную дверь он мог наблюдать жизнь бара, где она почти всегда била ключом, конечно не без помощи телевизора и игровых автоматов.

Вместе с ним в автобусе на Логроньо ехала только одна монашка, до вечера было еще далеко. Шел дождь, и на перевале,

соединяющем обе провинции, они ехали, по-видимому, сквозь главную дождевую тучу: на стеклах только серые бушующие потоки дождя, и ничего другого за окном видно не было. Из автобусного динамика неслась «Satisfaction», песня группы «Роллинг стоунз», как никакая другая подходившая для «трубного гласа jukebox», наверное поэтому она и была одной их тех немногих, которые десятилетиями имелись в наличии во всех jukebox всего земного шара (не заменялась на другие, более новые), «стандартный набор», подумал один пассажир, в то время как другой — в черном монашеском одеянии — беседовал с водителем под звучную гитару Билла Уаймена, требовавшую уважительного отношения к себе и заполнившую зычными звуками весь салон, о случившемся час назад, когда он, хранимый покоем и тишиной, безмятежно вкушал пищу в задней каморке ресторанчика, рядом с соседним переулком, где на стройке произошло несчастье: двое рабочих погибли под железными балками и лавиной свежего бетона. Из динамика зазвучала теперь «Ne me quitte pas» Жака Бреля, жалобное стенание, обращенное к любимой с мольбой «не покидать его» — опять одна из тех песен, которые составляли классический репертуар всех jukebox, по крайней мере, во всех изученных им на этот предмет франко- и испаноязычных странах, как правило, на шкале справа, где находился перечень неприкосновенных мелодий (в австрийских музыкальных автоматах там чаще всего можно было найти так называемые народные мелодии и любимые шлягеры, а в итальянских — иногда арии и хоры из опер, прежде всего из незабвенной «Аиды» или знаменитый хор пленных из «Набукко»). Странно только, размышлял путешественник дальше, что при этом молитва бельгийского певца, поднимавшаяся откуда-то из самых его глубин, где, казалось, не было ничего, кроме этого объемного низкого голоса, поющего, невзирая ни на что вокруг, очень интимно и лично — «это я говорю тебе и только тебе одной!» — которой вообще было не место в музыкальном автомате, стоящем в общественном месте и извергающем звуки за плату на потребу всех, вполне вписывалась в ситуацию сейчас, в этом пустом автобусе, петляющем по извилистым горным дорогам перевала на высоте двух тысяч метров, на ничейной туманной земле в потоках серого дождя.

Каменные плиты на тротуарах Логроньо радовали глаз узором виноградных гроздей и листьев, у города, как оказалось, был даже свой официальный летописец, которому газета «Ла-Риоха» ежедневно отводила целую полосу. Вместо Дуэро здесь текла — в своем верхнем течении — река Эбро, и не за чертой города или вокруг него, а прямо посредине, почти по центру; за

рекой, как обычно, находился на другом берегу новый город. Высокие снежные сугробы окаймляли берега большой реки и при повторном взгляде на них казались промышленным пейзажем, словно клубящиеся облака белого пара, а на фасадах высоких домов как на одном, так и другом берегу хлопали в сумерках на ветру развевающиеся простыни огромных флагов. И хотя подобное он уже видел в Сории, Логроньо — внизу, в виноградной долине, с едва ощутимым ласковым ветерком — в этом праздничном вечернем освещении казался просторным элегантным городом с широкими авенидами и изящными аркадами, он вдруг почувствовал при одном только воспоминании о зимних деревнях, оставшихся там наверху; на высокогорном плато Месета, где он провел всего лишь одну ночь и полдня, как у него защемило сердце, словно его охватила тоска по родному дому.

Сарагоса на следующий день, к юго-востоку и еще дальше вниз к широкой долине Эбро, встретила его каменными плитами на тротуарах с узорами в виде пузатых змеевидных извивов, которые, так он про себя решил, отображали «меандры», излучины реки, а город и в самом деле показался ему — после первых, ставших в Испании привычным для него делом, блужданий в поисках центра — поистине королевским, что и было засвидетельствовано в названии местного футбольного клуба. В Сарагосе он мог бы ежедневно читать иностранные газеты, увидеть, как и в любом другом городе мирового масштаба, все моднейшие фильмы, некоторые из них возможно даже на языке оригинала, а в уик-энд присутствовать на матче одной королевской футбольной команды против другой, приехавшей из Мадрида, и лицезреть с мячом — в его багаже имелся маленький театральный бинокль — живьем самого Эмилио Бутрагеньо (в его всегда остающихся незапятнанными майке и трусах, несмотря на мокрое поле и месиво под ногами), которому захотелось даже поверить, когда на вопрос репортера «Является ли футбол искусством?», он ответил: «В какие-то моменты — да». В городском театре давали Беккета, и люди покупали на него билеты в таких же кассах, как в кино, а в Музее изящных искусств можно было бы постоять перед картинами Гойи, проведшего здесь годы ученья, вдохновиться ими перед собственным начинанием, ощутив полную раскованность, распахнутость чувств, как, впрочем, и там, в безмолвной тишине, разлившейся в воздухе вокруг Сории, в дополнение к той благотворной безудержности и озорству, которыми заражал этот художник. Да, его позвало и уже влекло к себе другое место, где на откосах со свалкой строительного мусора вблизи новостроек

уже оставили свои следы взбиравшиеся по ним стада овец и где, несмотря на высоту, вспугнутые ветром взъерошенные воробьи мгновенно взмывали по вертикали вверх — ему явно не хватало их здесь. (Кто-то однажды сделал такое наблюдение: что является подлинным и на что можно положиться в ежедневных телевизионных сообщениях о международных новостях, не важно, ведется ли так называемый репортаж с места событий из Токио или из Йоханнесбурга — на переднем плане, скажем, групповой портрет государственных деятелей или может, дымящиеся руины, а на заднем — все та же стайка воробьев с их гвалтом и чириканьем.)

Что он предпринял в обоих городах, так это, как бы между делом, поиски jukebox; ведь должны же они были остаться от прежних времен, по крайней мере хоть по одному, и в Логроньо, и в Сарагосе и, может, даже еще и использоваться (представить себе новый, только что установленный jukebox было невозможно: в испанских барах малейший свободный пятачок отдавался во власть исключительно только игровых автоматов, громоздящихся друг на друга). Он надеялся, что со временем у него выработается нюх на такие места, где все еще стоят jukebox. Мало было надежды встретить их в центре больших городов или в обновленных старых кварталах, вблизи памятников архитектуры, церквей, парков, променадов (не говоря уж о квартале вилл). Почти ни разу не наткнулся он на музыкальный автомат на лечебном или горнолыжном курорте (пожалуй, в этом скорее можно было заподозрить безвестные места отдыха, расположенные по соседству со знаменитыми, например Самедан рядом с Санкт-Морицем), и никогда не видел он их в яхт-клубах или на модных купальных пляжах (зато — в рыбачьих портах, а еще чаще в портах с морской переправой: будь то Дувр, Остенде, Реджо-ди-Калабрия, Пирей, Кайл-оф-Лохалш с паромом на ту сторону Внутренних Гебридских островов или Аомори на севере самого большого японского острова Хонсю с паромом на Хоккайдо, переставшим уже тем временем туда ходить) и совсем редко, по сравнению с островами, в ночных заведениях на суше и в глубинке на континенте, а также вблизи государственных границ. По результатам его изысканий жгучий интерес к jukebox наблюдался вдоль транзитных шоссейных дорог в поселках, растянутых в отличие от деревень в длину и не имеющих городского центра, особенно находящихся в стороне от всех туристических маршрутов и расположенных в безликой равнинной местности без озер на ближайшем расстоянии (а если и была река, то как всегда далеко и бóльшую часть года пересохшая, без капли воды), в этих поселках проживало

необычно большое число чужестранцев, иностранных рабочих и/или солдат (в местах стоянки гарнизона), но даже и там музыкальные автоматы можно было встретить не на центральной площади — не отмеченной, как правило, ничем другим, кроме как огромной стоячей лужей, — и не на окраинах (там, а то и еще дальше, на обочине проселочных дорог, в лучшем случае имелась дискотека), а где-то в промежутке между тем и другим, скорее всего при казармах, на вокзале, в баре на заправочной станции или стоящем в сторонке неприметном заведеньице на берегу канала (естественно, в местах с дурной репутацией, скажем, «на задах за товарными путями», среди разношерстных по составу посетителей конгломераций). Одно из таких парадных по числу jukebox мест, не считая того, где он родился, он встретил однажды на фриульской равнине, оно называлось Казарса и славилось еще прозвищем «сладенькая» — по известному во всей округе сорту винограда. Он прибыл сюда однажды летним вечером из опрятной, богатой и очищенной от jukebox столицы провинции Удине, что «за рекой Тальяменто», причиной тому были шесть слов из стихотворения Пазолини, проведшего в этом маленьком городке часть своей юности: «в отчаянии среди отупения в Казарсе» и заклеймившего позднее позорное засилие jukebox в барах Рима вкупе с «флипперами» — автоматами для ручной игры в футбол — как продолжение ведения войны американцами только другими средствами.

После предпринятого хождения по кругу и топтания по окраинам, оставив попытки выйти за черту города из-за сильного движения на подъездах к автостраде, он развернулся и стал заходить наугад во все многочисленные бары — почти в каждом его встречал играющий светящимися красками, видимыми еще с улицы, jukebox (более респектабельные из них имели еще и videobox — экран, расположенный высоко наверху, откуда тоже несся звук). И все эти разноликие, старые и новые ящики исправно работали, причем играли не фоновую музыку, как принято, а наоборот, навязчивую и громкую — они орали и трубили. Это был воскресный вечер, и в ресторанчиках — чем ближе он подходил к вокзалу, тем чаще — люди весело отмечали, во-первых, расставания, отправляясь в дальний путь, а во-вторых, там сидело много рекрутов, которые в большинстве своем, судя по их виду, только что вернулись поездом из своего короткого отпуска и дожидались полуночи — предписанного часа возвращения к месту службы. Многие из них, чем позже становилось, уже не сбивались в кучки, а грустили поодиночке. Они блокировали одно из чудес музыкальной индустрии «Вурлитцера» — копию того классического, игравшего всеми

цветами радуги образца, с поднимающимися и опускающимися по прозрачным дугам воздушными пузырьками, и стояли так плотно друг к другу, что разноцветные светолучи с трудом пробивались промеж них наружу, а лица и шеи рекрутов, склонившихся к иглодержателю, вспыхивали поочередно то синим, то красным, то желтым светом. Улица напротив вокзала описывала позади них широкий круг и исчезала где-то в темноте. В самом привокзальном баре уже вытирали столы. Но несколько парней в серых и коричневых униформах все еще стояли, уже вскинув рюкзаки на плечо, рядом с jukebox — в данном случае, судя по неону, более современным, не отличающимся особыми тонкостями конструкции, из светлого металла, — и каждый из них был занят только собой, находился как бы в абсолютно пустом помещении с отодвинутыми к стенке столами и оставленными на время тут и там стульями, застыв перед строем гремевших еще мощнее над мокрым кафелем jukebox. Когда же один солдат отступил в сторону под напором половой тряпки, глаза его, широко открытые, немигающие, все так же неотрывно смотрели в одном направлении, а другой, словно в оцепенении, откинул голову назад и чуть вбок и уставился туда же, на пятачок перед порогом. Стояло полнолуние, стеклянная дверь сотрясалась, звенела, содрогалась, реагируя на долгое прохождение грохочущего в темноте товарного состава, загораживавшего собой кукурузные поля по ту сторону железной дороги; за стойкой — молодая женщина с правильными благородными чертами лица и дыркой во рту вместо зуба. Однако в испанских городах чутье подводило его уже не раз и не два. Даже в барах нищенских кварталов, на задворках мусорных свалок, в конце тупика с заманивающим плохим освещением, заставлявшим еще издали прибавлять шаг, он не мог найти следов былого присутствия — хотя бы светлого пятна на закопченной стене — столь желанного для него предмета поисков. Музыка, звучавшая здесь и вводившая его с улицы в заблуждение, громко рвалась из приемников и кассетников или доносилась с пластинок скромно притаившегося в уголке проигрывателя. Испанские уличные бары, которых, казалось, здесь в каждом городе гораздо больше, чем где-либо в другом месте на белом свете, были, возможно, все или слишком новыми заведениями для такого, ставшего уже почти допотопным явления (и потому не имели второго, обязательного в этих местах для этого помещения, задней каморки), или были слишком старыми и предназначались соответственно только для старых людей, молчаливо проводивших свой досуг за карточной игрой — jukebox в картежном баре? пожалуй! но не в таком солидном и

уважаемом, как этот! — или они сидели, обхватив голову руками, в полном одиночестве, и тогда он представлял себе дело так, что этот играющий ящик в период самого расцвета jukebox был запрещен здесь диктаторским режимом, а уж потом на него просто не было больше спроса. Правда, он немало узнал во время этих поисков и блужданий, испытал даже некоторое удовольствие от ощущения полной бесплодности своей затеи, но зато познакомился со специфическими уголками и вариантами этих на первый взгляд таких похожих друг на друга маленьких городов.

Вернувшись из Сарагосы в Сорию, с восточного направления, ночью, и не увидев из поезда, шедшего в стороне от главных дорог, почти ничего, он почувствовал, что для осуществления его замысла ему нужен только подходящий номер; он хотел наконец начать писать прямо завтра. Наверху, на одном из двух холмов, или внизу в центре города? Наверху, и к тому же за городом, не будет ли он опять чувствовать себя от всего оторванным, а между домами и улицами, словно зажатым ими в тиски? Номер с видом во внутренний дворик, пожалуй, настроит его на меланхолический лад, а с окнами на площадь станет сильно отвлекать от дела, в окна на север не заглядывает солнце, и за письменным столом будет темновато, в окне на юг солнце в таком избытке, что бумага начнет его слепить, на голой макушке холма ветер насквозь пронизывает стены, на лесистой — целыми днями толпятся гуляющие со своими беспрестанно лающими собаками, в пансионатах — он обследовал их все до одного — соседей селят слишком близко друг к другу, в дорогих отелях, он их тоже обошел, он может оказаться сейчас, в зимний сезон, в полном одиночестве, что нарушит его комфортное состояние, необходимое для творчества. На ночь он все же остановился в гостинице на голом холме. Дорога наверх заканчивалась перед каменным строением площадкой из раскисшей глины; пешая дорога в город — он немедленно проверил ее — вела через болото и пустырь, поросший чертополохом, затем мимо фасада церкви Санто-Доминго, которая, стоило только на нее взглянуть, тут же заиграла, выдавая свое присутствие, и сразу за ней выходила на крошечные площади, где огромные платаны-великаны раскачивали из стороны в сторону остатками шелестящих листьев, удивительным образом уцелевших почти полностью на концах самых верхних веток и смотревшихся сейчас словно звезды на черном ночном небе. Номер здесь, наверху, нравился ему: не тесная и не широкая комната — среди стен, где было слишком много места, он, как правило, никогда не находил места для себя. И город — не слишком близко и не слишком

далеко, и не так чтобы очень уж внизу, вид на него открывался из окна, не то чтобы очень большого, состоящего из одного огромного стекла, но, слава богу, и не из сплошных клеточек с переплетами; продолжая изучать комнату, он сразу поставил к окну стол, отодвинув его от зеркала, — пусть крохотный, но места для листа бумаги, карандашей и ластика хватит. Внутренне он чувствовал себя здесь комфортно; на ближайшее время эти стены станут для него надежным местом. Но когда наступило следующее утро и он, весь охваченный серьезным намерением начать писать, стал пробовать, как ему поудобнее устроиться, и определять, в какой час лучше всего сесть за работу, чтобы температура воздуха в комнате тоже его устраивала, оказалось, что в помещении довольно много лишних шумов (а уж ему ли было не знать, что шумы проникают обыкновенно как раз в самые «тихие» уголки, так называемые «приюты тишины», и не ровным однотонным гулом, а врываясь внезапно, когда вдруг неожиданно заиграет радио, раздастся смех, громкий звук отодвигаемого стула, оглушительный скрип половиц, пронзительное жужжание или свист, к тому же все это откуда-то очень близко, изнутри дома, из коридоров, соседних комнат, с потолка, моментально разрушая внутреннюю сосредоточенность и концентрацию сил, — ну вот и все, образы уже покинули пишущего, а без них не приходят на ум и нужные слова; шумы эти куда опаснее для творческого человека и мешают ему гораздо больше, чем непрерывный гул снизу с шоссе или улицы). Странно одно: что следующий номер показался ему не только слишком холодным для его многочасового сидения, его, так сказать, сверхурочной работы за письменным столом (будто он не знал, что круглыми сутками топят только в дорогих отелях и что когда ему хорошо пишется, он непроизвольно дышит так интенсивно, что никогда не мерзнет?), но еще и слишком тихим, вызывая в нем ощущение могильного склепа, ему показалось, что он будет здесь заперт, как в местах заключения, а свобода — там, за стенами, на природе, и как же впустить ее сейчас, в декабре, сюда в окно, а вместе с ней и живительную тишину? Третий номер был двуспальным, слишком много всего и на одну кровать больше, чем требовалось ему. В четвертом была всего лишь одна переборка — как-то слишком мало для него… Так он выучил испанское слово «слишком» — demasiado, уж *слишком* длинное слово по сравнению с коротеньким немецким «zu». Не был ли он одним из «характеров», или типов Теофраста, тем самым, кто «недоволен всем на свете», кто «не умеет довольствоваться тем, что есть», кто, обласканный любовницей, задается вопросом, а от всего ли сердца она его любит, кто сердится на Зевса не за то, что он

ниспослал дождь, а за то, что сделал это слишком поздно, а найдя на дороге кошелек с деньгами, обязательно скажет: «Да, но вот клада-то я так и не нашел»? А еще на ум вдруг пришел детский стишок-считалка про того, кому везде все не так, и он тут же, немного видоизменив его, примерил на себя: «Жил-был на свете человек, и было все ему не так весь век. / Дома стало вдруг холодно слишком, пошел он тогда в лес по дровишки. / В лесу ему было мокро в ту пору, полез он тогда скорее в гору. / Гора ему вышла клином, двинул тогда в Берлин он. / Берлин ему был слишком велик, замок купил он к нему впритык. / Замок казался ему дырой, тогда он опять пошел домой. / Дома стало…» Не было ли это немым признанием того, что ему везде все не так? Нет, почему же, кое-где ему всегда все было так, — ну например? — например, в тех местах, где ему хорошо писалось, или там, где вот только что стоял jukebox (но не в частных домах!). Одним словом, он, что ли, только там чувствовал себя в своей тарелке, где с самого начала знал, что надолго здесь не задержится?

В конце концов он выбрал тот номер, с которым его свела судьба, и это было правильно; что бы ни стояло на его пути, какие бы препятствия ни возникали — он все равно здесь остановится. «Кто кого возьмет — шум нас или мы его?» Для угрозы он выставил на окно остро отточенные карандаши, накупленные им в течение долгих лет скитаний по разным странам, но даже и в чужих местах он все же чаще других покупал карандаши немецких фирм: каким маленьким стал вот этот, с того января в Эдинбурге, сколько же воды утекло с тех пор? Веер из карандашей молниеносно смахнул ветер, они смешались с клочьями пепла, закружившимися в клубах дыма, вырвавшегося из объятий пламени, а внизу перед домом, рядом с кухонной дверью, прямо от которой уходила дорога в чертополох, на свалку и на болото, сидел поваренок с ножом, размером во всю его руку, и чистил крупную рыбу, наваленную перед ним горой, от ножа летела во все стороны, серебрясь и сверкая, рыбья чешуя. «Добрый это знак или наоборот?» Ах, да все равно уже поздно, все равно невозможно начать писать в первый же день. Привыкший продлевать эту игру, он испытал, в который уже раз, облегчение, что отложил все на завтра, и, воспользовавшись поводом, отправился бродить по пустырю, отработать, так сказать, несколько прогулочных маршрутов для себя, отыскать протоптанные на открытом месте тропинки — не слишком каменистые, но и не болотистые, не слишком продуваемые резкими западными ветрами, но и не пролегающие в затхлых зонах полного безветрия.

При этом в нем что-то происходило. Тогда, как только

зародилась сама идея, озарившая его написать «Опыт познания природы jukebox», он представлял себе все это в виде диалога на театральной сцене: в качестве реквизита сам jukebox, что бы он ни олицетворял собой для каждого присутствующего в зале, для абсолютного большинства, вероятно, вообще что-то очень далекое от жизни и даже нереальное, и тогда один персонаж, как бы представитель от публики, выступает в роли вопрошающего, а второй, как лицо «сведущее» в этой области, компетентно отвечает на вопросы, в противоположность диалогам Платона, где вопрошающий Сократ знает о проблеме гораздо больше того, кто, во всяком случае поначалу, распираемый от предчувствия предвзятых суждений, провозглашает свои истины-ответы; скорее всего случится даже так, что знаток предмета только через вопросы спрашивающего уяснит для себя, какими «искомыми ценностями» обладает предмет-реквизит, участвовавший в той игре, из которой складывалась его жизнь. Но с течением времени он как-то позабыл про сценический диалог, и «Опыт» замаячил перед ним в виде несвязного хаоса разнообразных форм художественного письма — как бы это их назвать? — ну вроде бы, так ему казалось, в том числе и тех, что созвучны джазовым? аритмичным? мелодиям, со звуками которых слился для него jukebox и которые напоминали ему о нем: сиюминутные образы будут сменяться более пространственными и во временном отношении тоже, а потом внезапно обрываться новыми повествовательными приемами; за ключевым словом будет следовать развернутый репортаж об отдельных моделях jukebox вместе с описанием конкретного места его нахождения; от одного блока зарисовок без всякого перехода вдруг внезапный скачок к одной из цитат, а та в свою очередь и тоже без перехода, без всякой витиеватой вязи, вносящей в повествование гармонию, уступит место, возможно, всего лишь бесконечно нудному перечислению заглавных титров репертуара и имен певцов, обнаруженных во время углубленного поиска, — причем в роли основополагающей формы, образующей каркас повествования, выступит все та же игра в вопросы и ответы, но как бы между прочим, определенно уж фрагментарно, обрывочно, с синкопами вкраплений и обязательным их выходом из текста, в комбинации с похожими на отдельные кинокадры кусками прозы, в центре внимания которых каждый раз будет находиться другой музыкальный автомат, и, отталкиваясь от него, вновь будет разворачиваться живая многокрасочная картина или молчаливый натюрморт, расходясь широкими кругами вокруг предмета исследования — если получится, — выплескиваясь за пределы страны, а может, и всего лишь до ближайшего самшита в конце

перрона. Он надеялся, что ему удастся перевести свой «Опыт» в другую тональность, заставить звучать его как «Балладу о jukebox» — распевный, так сказать, мелодичный и «гладкий» текст во славу музыкального автомата, при условии, конечно, что после всех задуманных экзерсисов он зазвучит сам по себе и будет исполняться как хорошая песня. Ему даже казалось при этом, что подобный эксперимент с литературными формами не только отвечает запросам самого специального объекта изображения, но и требованиям времени. Разве не производили на него ошеломляющего впечатления эпические формы прошлых эпох — их единство, их жесты заклинаний, желание повелевать (чужими судьбами), притязания на абсолютное знание происходящего и поразительная наивность суждений, что практикуется, кстати, в книгах и сегодня, но производит лишь жалкое впечатление жеманства и надутого чванства? Сведение воедино разнопланового материала — мелких отступлений и более пространного изложения темы — и притом не только в привычных рамках замкнутых форм, а также и как свободного сквозного повествования, могло бы стать, особенно теперь, благодаря его полноценному и всеобъемлющему эмоциональному и глубокому опыту, стимулирующему полное единение с предметом, заманчивым для него приемом при написании книг: соблюдать дистанцию; окружать объект со всех сторон; обрисовывать контуры; обыгрывать детали — одним словом, сопроводить свое дело со всех сторон охранной грамотой. И тут во время его поисков хоженых и нехоженых путей, при бесцельном блуждании по безлюдной саванне в его сознании включился и властно заработал совсем другой ритм, не ведающий резких переходов и скачков, напротив, единый, ровный, тот, который вместо того, чтобы окружать и обыгрывать, прямолинейно и ответственно перешел in medias res[10] в повествовательный ритм. Сначала он ощутил это в себе: на ходу, постоянно в движении встречающиеся ему детали и эпизодические сцены звучали в нем, следуя одна за другой, как песня; все, что он эмоционально воспринимал, вбирал в себя, жило в нем уже в рассказанном виде, как отдельные звенья повествования; мгновения сегодняшнего дня тут же принимали форму случившегося в прошлом, притом иначе, чем это было в его снах, — без заходов издалека и длинных рассуждений, только ясные и четкие главные фразы, короткие и однозначные, как констатация факта или момента: «Ветер набросал в ограждение из сетки головки репейника. Старик с пластиковым пакетом в руке наклонился и сорвал на пустыре гриб. Собака пропрыгала мимо на трех лапах и чем-то напомнила мне серну; кожа старика

была желтой, лицо белым; серо-сизый дым, застилавший пустырь, шел из его каменной лачуги. Треск и дребезжание сухих стручков на одиноко стоящем дереве походили на звуки встряхиваемого коробка спичек. В Дуэро из воды выскакивали рыбы, рябь на воде покрылась от ветра, дувшего против течения, мелкими белыми гребешками, а на другом берегу волны лизали подножье скал. В поезде из Сарагосы уже горел свет, и были видны редкие пассажиры, сидевшие у окна…» Но потом этот ритм спокойного повествования о происходящем перед глазами перекинулся на тот, еще только предстоящий, задуманный как многоплановый текст в духе арабесок, и «Опыт» тут же превратился, еще до того, как была написана первая фраза, в рассказ, причем так настойчиво и властно, что все другие формы мгновенно предстали как ничтожные. Это не испугало его, а показалось безмерно прекрасным; ведь в ритм повествования ворвался согревающий всех и вся полет фантазии, окрыляющего вымысла, слишком редко проникающего в тайники его души, но которому он все еще доверял, хотя бы по той причине, что, когда вдохновение и фантазия посещали его, вокруг царила тишина, даже среди оглушительного грохота и шума, — и тогда естественная тишина, далекая-далекая, где-то на лоне природы, не шла с ней ни в какое сравнение. А самым примечательным в творческой фантазии было то, что в ее образах и картинах место действия и сама местность, где он хотел писать свой рассказ, участвовали как бы на равных. Правда, интуиция подталкивала его к этому еще и раньше, да только он уже перенес однажды, к примеру, березу из-под Кёльна в Индианаполис, превратив ее в кипарис, а одну зальцбургскую тропу скота к водопою в Югославию и даже использовал целый населенный пункт, где он сидел и писал, в качестве второстепенной детали задника; однако на сей раз Сория должна появиться как Сория (возможно, вместе с Бургосом и даже Виторией, где один местный старик опередил его со своим приветствием) и стать одновременно предметом повествования, как и jukebox. Глубоко за полночь в нем все еще жило то физическое ощущение вновь обретенной повествовательной формы; правда, его все же кое-что мучило, и уже давно, — в буквальном смысле все какие-то мелочи (прохожий с зубочисткой во рту; на одном могильном камне имя «Бенита Сория Верде»; в честь Антонио Мачадо набитый камнями и залитый цементом вяз, исписанный его стихами; отсутствующие буквы в вывеске ОТЕЛЬ); все это скопилось в нем, распирало его мозг и требовало быть изложенным на бумаге. Правда, из этого уже ушла та вдохновляющая, несущая потоком картины и образы сила воображения, покинув его сердце и засев лишь у него в

голове, трансформировавшись в холодное принуждение, — бесконечно пульсирующий бессмысленный бег, будто бьешься лбом в закрытые ворота; и тогда он спрашивал себя: а не было ли то, что первоначально казалось ему божественной прозой, обыкновенным обманом — выражением его страха перед распадом повествования на не имеющие смысла куски, превращением цельного текста в нечто бессвязное? Опять отговорка? Новая уловка? Уродливое порождение трусости? А было ли столкновение нос к носу с человеком с зубочисткой во рту зимой на Кастильской Месете, его кивок, означавший приветствие, действительно чем-то ничтожным, незначительным? — Это уж как всегда: первую фразу, с которой он начнет завтра писать, он не будет предугадывать заранее; после всех его до сих пор заранее продуманных начальных фраз он всегда вставал потом в тупик перед второй. Но с другой стороны: долой все так называемые правила и закономерности! И так далее…

Утро следующего дня. Стол у окна в гостиничном номере. По мусорной свалке на пустыре ветер гоняет пустые пластиковые пакеты, застревающие тут и там в зарослях чертополоха. На горизонте скалистая гора, напоминающая горнолыжный трамплин, над полосой разбега дождевая туча в форме гриба. Закрыть глаза. Заткнуть затычками из бумаги щель в окне, через которую свистит и дует ветер. Снова закрыть глаза. Выдвинуть ящик стола, у которого, как только сядешь писать, начнет звякать ручка. В третий раз закрыть глаза. Жалобный вой. Открыть окно: маленькая черная собачонка, как раз под самым окном привязанная у порога, мокрая от дождя, как только и может промокнуть пес; с жалобным подвыванием, замолкающим время от времени, с вырывающимися в промежутках между лаем теплыми облачками пара, толчками выдыхаемого в сторону пустыря. «Aullar» — испанское слово, означающее *выть, завывать* (о волках и т. д.). В четвертый раз закрыть глаза.

По дороге из Логроньо в Сарагосу он видел за окном среди безлюдных зимних виноградников в долине реки Эбро каменные кубики, похожие на игровые кости — хижины виноделов. И в той местности, откуда он родом, вдоль тропок меж полей зерновых стояли такие же хибарки-кубики, только из дерева, размером с будку. Эти домишки и изнутри не застуживали другого названия — свет проникал только в щели между досками или дырки от сучков, земляной пол порос пучками травы, а в углу, где складывали инвентарь для полевых работ, буйно разрослась крапива. И каждую из таких хибарок, поставленных на арендуемых дедом полях, он считал своей собственной

территорией. Рядом, как правило, рос куст черной бузины, верхушка которой давала тень поставленному среди открытого поля прибежищу, а ветки пролезали в щели с боков вовнутрь укрытия. Там было место только для небольшого стола и скамейки, их можно было выносить за дверь и ставить под бузиной. Увязанный в платок — от насекомых и чтоб меньше нагревался — кувшин с молодым вином и бутерброды на полдник. Под кровлей такой будки он чувствовал себя гораздо уютнее и надежнее, чем в добротных домах (в которых по спине пробегал иногда мерзкий холодок — а место ли ему там, где он находится; но стоило лишь заглянуть в темную кладовку без окон или устроиться на пороге этой пограничной линии между внутренностями дома и внешним миром, как он начинал думать, что, с одной стороны, здесь, конечно, все-таки безопасно, а с другой — в лицо бьет свежее дыхание дождя и снега). Однако при всем при том он расценивал полевые хибарки не столько как убежище для себя, а скорее как место отдыха и покоя. Позднее ему достаточно было только увидеть в своих родных краях одно из этих светло-серых, ветхих, покосившихся строений, далеко от дороги, среди полей, лежащих под паром, всего лишь краем глаза, и он сразу чувствовал, как у него буквально выпрыгивает из груди сердце — так ему хотелось оказаться в этой хижине и хоть на миг почувствовать себя дома, вместе с летними мухами, осенними осами и зимним холодом проржавевших цепей.

Родных полевых хибарок давно уж нет и в помине; только гораздо более вместительные, используемые для длительного хранения сена сараи на лугу. Но как раз в те времена, такие давние, их очарование как домашнего очага и любовь к тем местам перешли у него в увлечение «джукбоксами». Будучи подростком, он ходил с родителями не в харчевню и не затем, чтобы выпить лимонаду, а к «вурлитцеру» («Wurlitzer Is Jukebox» — вот их девиз того времени), туда, где можно было послушать пластинки. То, что он рассказал об овладевавшем им каждый раз чувстве родного с детства и дорогого ему по воспоминаниям явления, стоило ему лишь мимоходом увидеть заветную хибарку среди полей, в полной мере относилось и к музыкальным автоматам, вошедшим повсюду в обиход под словом «джукбокс». При этом внешний вид тогдашних музыкальных автоматов и даже набор пластинок играли поначалу гораздо меньшую роль, чем особый звук, исходивший из нутра джукбокса. Он не шел, как дома, из стоящего в красном углу радиоприемника сверху, а откуда-то словно из подземелья, и еще, возможно, при той же громкости звука, не из самого привычно тянущего волынку говорящего ящика, а вибрировал где-то на таинственной глубине,

заполняя собой все помещение. Казалось, что это вовсе не автомат, а скорее особый музыкальный инструмент, благодаря которому музыка — правда, как он узнал об этом позже, только определенная — приобретала некий доминирующий фон, сравнимый разве что со стуком колес и грохотом проходящего мимо товарного состава, вдруг превращающимися при прохождении его по железнодорожному мосту в буханье и скрежет железа. Однажды, намного позже, другой ребенок застыл возле такого джукбокса (где как раз играла выбранная им самим пластинка Мадонны «Like a Prayer»), еще совсем маленькое существо, так что вся гигантская мощь расположенных внизу динамиков была направлена на детское тельце. Ребенок слушал, весь обратившись в слух, став очень серьезным, полностью погрузившись в магию звуков, а родители, собравшиеся уходить, стояли уже в дверях и неоднократно звали свое дитя, в промежутках улыбаясь и как бы извиняясь перед другими гостями за своего неразумного отпрыска, и так длилось до тех пор, пока песня не отзвучала, и ребенок, все такой же серьезный и переполненный благоговейным восторгом, молча прошел мимо отца и матери и вышел в дверь на улицу. (Исходя из этого, не объяснялся ли провал той модели jukebox, походившей на обелиск, не столько ее необычным внешним видом, сколько, возможно, тем, что звук и сама музыка уходили в потолок?)

Кое-что с джукбоксами все же было иначе, чем с ветхими хибарками в поле, ему было недостаточно, чтобы они просто стояли: они должны были играть, тихо мурлыкать — еще лучше, если запускал их кто-то другой, — сиять как можно ярче, будто из самых затаенных своих глубин; нет ничего более печального и безотрадного, чем такой темный, холодный, отслуживший свое металлический ящик, чего доброго, еще стыдливо спрятанный от посторонних глаз под связанной крючком салфеточкой, столь знакомой по обычаям в альпийских краях. Таких уж абсолютно точных сведений об этом у него, правда, не было, сейчас он смог вспомнить только про один сломанный jukebox в японском местечке Никко, знаменитом своим храмом — на протяжении всего такого длинного путешествия и скитаний между югом и севером единственный в этой стране jukebox, заваленный горой иллюстрированных журналов; и первое, что он сделал, так это тут же освободил прорезь для монеток, заклеенную клейкой лентой, — ну вот, хотя бы так, наконец-то. В честь своей находки он заказал еще одно саке и пропустил в зимних вечерних сумерках поезд на Токио. До этого он уже побывал в одном забытом храме, чуть севернее городка, среди лесов, прошел мимо остывающего, но еще вспыхивающего языками пламени костра,

радом метла и кучка снега, а еще дальше, в горной части острова, посреди ручья горбился обломок скалы, огибая который пенилась и бурлила быстрая вода, и эти звуки напомнили ему другой знакомый утес среди другого горного ручья — так и слышалось тому, кто хотел это слышать, как разносилась во Вселенной трансляция наполовину протяжно-напевного, наполовину звучащего как барабанная дробь обращения к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций всей планеты. А потом ночью в Токио люди перешагивали через лежащих вдоль и поперек на ступеньках вокзала людей, а еще позднее, и опять вблизи храма, один пьяный остановился перед курившимся жертвенным дымом, помолился и исчез, пошатываясь, в темноте.

Важны были не одни только утробные звуки: так называемые «американские шлягеры», звучавшие из стоявших повсюду джукбоксов с такой по-свойски понятной маркой «Wurlitzer», воспринимались принципиально совершенно иначе, чем, скажем, дома из приемника. Он, правда, тут же крутил ручку настройки и ставил на полную громкость, стоило ему услышать Пола Анку с его «Дайаной», Диона со «Сладкой маленькой Шейлой» или Рикки Нельсона с его «Цыганочкой», испытывая одновременно угрызения совести, что его притягивает к себе эта «недомузыка» (даже и значительно позже, уже студентом, когда он наконец заимел в своей комнате приличный проигрыватель со стереоколонками, тот всегда предназначался в первые годы исключительно для того, что заслуживало по общему признанию называться «музыкой»). И лишь подходя к джукбоксу, он давал себе волю, сознательно запускал его на полную мощность, и тогда оттуда тремолировало, выло, ревело, визжало и бухало то, что переполняло его, переливаясь через край, и не только радостью, но и заставляло содрогаться от испытываемого блаженства, разливающегося по телу тепла и ощущения единения со всеми. В оглушительных стальных ритмах «Апачей», отбиваемых на струнах гитары, имитирующих ковбойские скачки верхом, воняющий спертым воздухом и громко рыгающий провинциальный кабачок «Espresso» на проходящей мимо сквозной трассе от «города народного плебисцита[11] 1920-го» к «городу народного протеста[12] в 1938-м» подключался к качественно иной жизненной системе, энергообеспечение которой позволяло, если ты бросил монетку, выбрать на светящемся табло, находящемся на уровне бедер, сначала номер «Мемфис, Теннесси», а потом почувствовать, как ты вырастаешь в собственных глазах, превращаясь в таинственного «прекрасного незнакомца»[13], и грохот грузовиков на федеральной трассе и визг тормозов преображаются в твоем воспаленном мозгу в

равномерное сонорное гудение движущейся колонны трейлеров по «Route Sixty-Six», будя в тебе одну только мысль: все равно куда — лишь бы уехать отсюда подальше!

И хотя в их краях музыкальные автоматы тоже были местом сборищ для ночных танцев по субботам — огромный полукруг вокруг пятачка всегда, как правило, оставался свободным, — принять в этом участие самому никогда не приходило ему в голову. Он, конечно, с любопытством смотрел на танцующих, принимавших в полумраке зала, на фоне массивного, словно из-под земли гремящего, сверкающего огнями ящика, неясные, призрачные очертания, однако джукбокс был для него тем же, чем раньше хибарка в поле: от него ему передавался покой, он приглашал его тихо посидеть, успокаивал своей внешней неподвижностью и бездыханностью, прерываемой лишь в моменты церемонии нажатия клавиши с номером, что заставляло нутро ящика вибрировать. Слушая исторгаемые джукбоксом звуки, он никогда не впадал, как не случалось с ним этого и при первых тактах музыки, которая трогала его — будь то строго классическая музыка или отрешенные мелодии далеких эпох, — тут же в экстаз, не делался безумным, притом мгновенно, и его не охватывала лихорадка, и он не уносился в мечтах в даль. Во время слушания музыки опасно как раз то, сказал ему однажды кто-то, что она дурманит тебя, лживо уверяя в чем-то, еще не совершенном тобой или уже содеянном, тогда как звуки jukebox того начального периода, напротив, заставляли собраться, сконцентрироваться, будили в нем или генерировали исключительно только картины реальной, возможной жизни и укрепляли его в этой вере.

Там, где стоял jukebox, можно было, как нигде в другом месте, прийти в себя, задуматься и поразмыслить; в университетские годы джукбоксы становились для него порой спасительным местом бегства, сравнимым разве что с кинотеатрами; но в киношные залы он пробирался чаще тайком ото всех, а в различные свои кафе, где стоял jukebox, он входил открыто и беззаботно, со спокойной совестью, уверяя себя, что это и есть те самые испытанные места, самые надежные и верные, где можно набраться жизненного опыта. Но и это оборачивалось обманом, потому что стоило ему только попытаться мысленно повторить собранный им в таком общественном месте материал и прочувствовать его в тиши, например, перед сном, как от него, как правило, уже ничего не оставалось, все куда-то улетучивалось. Однако кое-чем он все-таки был обязан своим тайным прибежищам души в холодные годы студенчества: то были пережитые им чувства и впечатления, для которых сейчас, в

годы своего писательства, он находил только один эпитет «прекрасные». Однажды поздним зимним вечером он сидел в одном из своих любимых jukebox-кафе и отчеркивал в конспектах лекций жирным то, что никак не шло ему в голову. Кафе находилось как бы не в типичном для этих заведений месте — на краю городского парка, и в интерьер с мраморными столиками и витринами с пирожными плохо вписывался сам jukebox. Музыкальный ящик играл, а он сидел и как всегда нервно выжидал, когда же дойдет черед до выбранных им самим номеров — только тогда все встанет для него на свои места. Однажды после паузы, вызванной сменой пластинки, которая сама вместе со всеми другими звуками и шумами — щелканьем клавиши, жужжанием поиска, ползаньем взад и вперед по брюху автомата, захватом и щелчком при заскакивании в щель, шипением перед первым тактом, — была частью этого существа по имени jukebox, из глубины зазвучала такая музыка, при звуках которой он впервые в жизни и потом только в высшие моменты любви познал то, что на профессиональном языке называется «левитация» [14], и как ему теперь, более четверти века спустя, прикажете назвать это самому: «Вознесение»? «Раскрепощение»? «Сотворение мира»? Или, может, так: «Вот это — песня и эти звуки — это я сам; эти голоса, их гармония — они во мне, и теперь я стал таким, каким еще никогда в жизни не был, но какой я и есть на самом деле; иными словами, каково это пение, таков и я, целиком и полностью!»? (Как всегда в таких случаях тут же нашлось устойчивое выражение, и, как всегда, оно не отражало полностью того, что от него требовалось: «Он весь растворился в музыке».) Не проявив поначалу никакого интереса к тому, что это за группа и чьи голоса раздаются под аккомпанемент гитары то по одному, то вторя друг другу, а под конец и вовсе зазвучав вместе, в унисон, он просто оторопел от удивления, тем более что до этого предпочитал слушать исключительно только сольное исполнение, включая и jukebox. То же самое происходило с ним и в последующие недели — он ежедневно проводил по нескольку часов в этом баре, чтобы тихонько посидеть под лавиной обрушивающихся на него в таком изобилии оглушительных и лишенных особой глубины звуков, которыми одаривали его гости заведения, он продолжал находиться все в том же оцепенении, где не было места любопытству: узнать имена исполнителей. (Неожиданно музыкальный автомат стал для него центром притяжения в этом кафе в парке, где часто хлопали складываемые деревянные держатели подшивок газет, да еще то и дело сменяли друг друга пластинки одной и той же безымянной группы.) А когда он потом, теперь уже редко слушая радио, вдруг

неожиданно узнал, как называется этот хор ангелочков с дерзкими язычками, взявшихся неизвестно откуда и ни с того ни с сего протрубивших на весь мир «I Want To Hold Your Hand», «Love Me Do», «Roll Over Beethoven», сбросив с него одним махом все тяготы жизни, он купил себе первые, так называемые «несерьезные» пластинки (впоследствии он почти всегда покупал только такие), и потом в кафе на бензоколонке именно он был тем, кто до тех пор жал на клавиши джукбокса с «I Saw Her Standing There» и «Things We Said Today» (ставшие с течением времени слепыми, но он знал эти цифры и буквы наизусть, лучше чем буквы и параграфы законов), пока в один прекрасный день не зазвучали другие песни и фальшивые, обманчивые голоса не засюсюкали и не зарыдали над какой-то чепухой: старую надпись оставили, но подсунули модный теперь хит уже на немецком языке… И даже сегодня ему все еще казалось, что в ушах у него звучит все та же мелодия и он слышит то самое первое, так поразившее его исполнение битлов, из того самого «вурлитцера» среди деревьев в парке: когда же миру вновь явится такая благодать?

В последовавшие за этим годы jukebox утратил для него свою магическую силу: пожалуй, в меньшей степени из-за того, что он чаще слушал музыку в квартире, и уж точно не оттого, что стал старше, а потому — так ему, во всяком случае, представлялось, и он хотел себя в этом убедить, приступая к работе над «Опытом», — что жил теперь за границей. Само собой разумеется, он всегда тут же бросал монетку, как только оказывался — в Дюссельдорфе, Амстердаме, Кокфостерсе, Санта-Тереза-Галлуре — перед одним из услужливо бормочущих и играющих там радужными цветами «духов дома», но скорее уже по привычке или устоявшейся традиции, и слушал их теперь всегда только вполуха. Однако смысл и значение jukebox мгновенно возвращались к нему во время всех его эпизодических остановок в тех местах, которые он, собственно, должен считать для себя родными. В таких, где для одних самый первый путь возвращения домой начинается с дороги «на кладбище», «к озеру» или в «заветный кабачок», а для него, зачастую прямо с автобусной остановки, нередко прямиком к джукбоксу, и только после того, как музыкальный автомат, основательно «прогромыхав» через его душу, можно сказать, отуплял его, он отправлялся (в надежде, что будет после этого меньше чувствовать себя здесь чужим и оттого ощущать неловкость) по остальным, привычным для него маршрутам.

И все же стоит рассказать о музыкальных автоматах за границей, которые не просто проигрывали пластинки, но и

сыграли свою роль, оказавшись в центре немаловажных для него событий. И каждый раз это случалось, какая бы заграница то ни была, непосредственно на самой границе — там, где кончался привычный и знакомый мир. Пусть Америка является, так сказать, «родиной jukebox», однако там ему не запомнился ни один музыкальный автомат, который вызвал бы в нем ответные чувства, — это случалось, и притом не раз, только на Аляске. А тогда возникал вопрос: была ли для него Аляска «Соединенными Штатами»? Однажды в сочельник он прибыл в Анкоридж и после Рождественской мессы, где перед входом в маленькую деревянную церквушку среди незнакомых людей, включая его самого, царило редкостное и радостное веселье, пошел еще в бар. В сумеречности зала и хаотичном брожении подвыпивших людей он увидел неподвижно стоявшую перед сияющим jukebox одинокую женскую фигуру — индианка. Она повернулась к нему — крупное, гордое, чуть насмешливое лицо, — и это был единственный раз в его жизни, когда он танцевал с кем-то под буханье джукбокса. И даже те, кто привычно искал, с кем бы тут помериться силами, отступили, давая им место, словно эта женщина — молодая или скорее вообще не имеющая возраста, есть такой тип женщин, — была здесь главной персоной. Позднее они ушли вместе через заднюю дверь, где на заледенелом дворе стоял ее фургон, предназначенный для дальних передвижений по Аляске, на боковых окнах — контуры северных сосен на берегах пустынного озера; шел снег. Не прижимаясь и не прикасаясь к нему, за исключением легких мимолетных касаний в танце, она позвала его пойти за ней; вместе с родителями она занималась рыболовством в деревне, расположенной по ту сторону залива Кука. И в этот момент ему стало ясно, что в его жизни, возможно, наметилось наконец решение, принятое не только им одним, но и еще кем-то: он тут же представил, что отправится с этой чужой женщиной туда, на другую сторону границы, в снежную пургу, притом совершенно серьезно, навсегда, не помышляя о возвращении, и даже откажется от своего имени, от рода своих занятий, от всех своих индивидуальных привычек; вот эти глаза, то далекое место по ту сторону привычного мира, так часто мерещившееся ему, — это был момент, в какой Парсифаль стоял перед спасительным разрешением вопроса. А он? И он перед таким же ожидаемым от него «да». И как Парсифаль, и не потому что был не уверен — он все ясно представлял себе, — а потому что так уж он был устроен, и это вошло в его плоть и кровь, он медлил, и уже в следующий миг вся картина и сама женщина буквально исчезли в снежной ночи. Все последующие вечера он снова и снова заходил в бар, ждал ее, стоя возле jukebox,

спрашивал и расспрашивал о ней, но, хотя многие помнили ее, никто не мог сказать, где ее найти. Целое десятилетие спустя это воспоминание, оно все еще жило в нем, толкнуло его на то, чтобы на обратном пути из Японии специально простоять полдня за американской визой и потом действительно выйти из самолета в снова по-зимнему темном Анкоридже и несколько дней бродить вдоль и поперек по занесенному снегом городу, к свежему и чистому воздуху и далеким горизонтам которого так прикипело его сердце. Но даже и на Аляску проникла за это время новая ресторанная мода, и тот «saloon» превратился уже в более респектабельное «бистро», с соответствующим меню конечно, и демонстрировал рост престижа — солидность, не терпящая, и так было не только в Анкоридже, рядом со светлой и облегченной меблировкой никаких громоздких и старомодных музыкальных автоматов. Однако доказательством былого присутствия jukebox стали вывалившиеся на тротуар из длинного, как кишка, барака и появившиеся там же из-за угла шатающиеся фигуры — всех рас, — а чуть дальше, промеж льдин, в окружении патруля полицейских лежал кто-то, пытавшийся отбиться от них — оказалось, белый, — ничком и на животе, плечи заведены назад, согнутые ноги стянуты ремнями, руки на спине и в наручниках, скрюченный на льду, став похожим на салазки, его и протащили потом по снегу, как салазки, до стоящей позади полицейской машины и увезли куда-то; а внутри барака степенно приветствовал входящего, сразу же у входа, возле стойки, на которой лежали головы пьяных и слюнявых, со следами блевотины на губах спящих людей (мужчин и женщин, в основном эскимосов), классический и, казалось, заполнявший собой всю кишку музыкальный автомат с соответствующим репертуаром допотопных пластинок — можно было с уверенностью рассчитывать, что здесь найдутся все singles[15] рок-группы «Creedence Clearwater Revival» и непременно раздастся, пробиваясь сквозь клубы дыма и чада, неистовое и мрачное завывание Джона Фогерти, сетующего на то, как на запутанных тропах певца-бродяги он уже давно «утратил где-то смысл», да еще его жалоба: «Если б я имел хоть по доллару с каждой песни, что спел!» — и все под раздавшийся со стороны вокзала, пропускающего в зимнюю стужу только товарные составы, будоражащий город, протяжный и звучный, как трубный глас, гудок локомотива со странной для Крайнего Севера надписью на боку «Южная тихоокеанская железная дорога», а на тросе перед мостом, ведущим к доступному только летом лодочному причалу, болталась замерзшая ворона.

Так были ли музыкальные автоматы чем-то вроде забавы для

бездельников горожан или, скажем, более современных сегодняшних гуляк, фланеров? Нет. Он, во всяком случае, реже посещал их в периоды ничегонеделанья, чем когда вынашивал свой замысел и потом начал регулярно писать, а особенно часто по возвращении из всяческих заграниц в те места, откуда был родом. Как перед тем, прежде чем на много часов засесть за письменный стол, необходимо уйти с головой в тишину, так потом никак невозможно не наведаться туда, где стоит jukebox. Чтобы как-то отвлечься? Нет. Он хотел, раз уж взялся за изучение природы этого явления, чтобы ничто на свете не отвлекало его. Даже его дом и тот со временем остался без музыки — без проигрывателя или чего-то тому подобного; как только после новостей привычно вступал первый музыкальный такт, он тут же выключал радио; и даже тогда, когда время тянулось бесконечно в часы полной пустоты в голове и притупления чувств, ему достаточно было лишь представить, что вот сейчас он сидит не просто так, наедине с собой, а перед телевизором, и он тут же отдавал предпочтение сиюминутному состоянию. Даже киношки, которые служили раньше своего рода отдушиной после долгих часов работы, и их он теперь избегал и сторонился все больше и больше: слишком часто именно там настигало его полное одиночество, отчужденность от всего мира, и он опасался, что так никогда и не сумеет вырваться оттуда и снова заняться своим делом; тогда он вставал посреди сеанса и выходил, что, по сути, было обыкновенным бегством от дневных наваждений. Так что, он отправлялся к музыкальным автоматам, чтобы — как там было сказано в начале? — ну да, чтобы сосредоточиться. Да только и это уже было не совсем так. Может, конечно, он мог бы объяснить свое «сидячее хождение» к предмету своих изысканий тем, что пытался тогда в Сории, просиживая в течение долгих недель часами без движения за письменным столом, разобрать по складам писания св. Тересы из Авилы, прибегнув теперь к несколько нахальному для себя сравнению: святая Тереса испытала на себе влияние религиозного спора тех времен, начала XVI века, возникшего между двумя сторонами верующих относительно того, как можно приблизиться к Богу: одни утверждали, что для этого надо «собраться» — так называемые recogidos[16], — сжав мышцы и все остальное прочее, а другие — dejados[17], исповедовавшие девиз «оставь все как есть», — бездействовали, отдав себя на волю Божью и веря, что Бог настроит их душу — alma — так, как пожелает; и святая Тереса склонялась скорее к бездействующим, чем к концентрирующимся, поскольку чем больше человек стремится к тому, чтобы всего себя отдать Богу, тем больше опасность угодить в сети дьявола; и он

сидел, так сказать, при своих jukebox не для того, чтобы сконцентрироваться на дальнейших деяниях, а полностью отдаваясь им и оставляя все как есть. Конечно, при этом он не отказывал себе в том, чтобы прилежно внимать особым аккордам jukebox — «особым» потому, что никогда не становился в общественном месте жертвой того, что слушали другие, а выбирал себе мелодии сам, как бы заставляя автомат «играть» для него лично, — в душе его, отдававшего себя на волю звуков, рождалось их продолжение: давно мертвые образы и картины оживали, приходили в движение, витали в воздухе и настойчиво просились на бумагу, а он сидел рядом (по-испански junto) и, уйдя в себя, слушал, как Боб Марли пел об искуплении в «Redemption Song»; и с повторяющейся изо дня в день в исполнении Алисы «Una notte speciale»[18] в рассказ, над которым он работал, входила среди прочего, все больше утверждаясь в нем, одна незапланированная им женская фигура; и не так чтобы, когда пишешь бог весть что в угаре звуков, потому что много пьешь, а потом все вычеркиваешь, нет, она не исчезала из текста и на утро следующего дня. Значит, не ради только одного того, чтобы уехать как можно дальше, снялся он с насиженного места в период раздумий и внутренней подготовки (что вообще нельзя сделать по заказу, преднамеренно, сидя дома за письменным столом и заставляя себя насильно мыслить, — такое могло оказаться результативным только при сравнивании одного с другим и распознавании отличий), а чтобы еще и посетить те кабачки и бары, где стоял jukebox. И когда потом он сидел в баре одного сутенера, где в jukebox всадили однажды пулю, или в кафе, где собирались безработные, но где всегда оставляли свободный столик для сбежавших из соседней психушки — тупые, неподвижные и бескровные физиономии, приходившие в движение, только чтобы проглотить таблетку, запив ее пивом, — ему никто не хотел верить, что он пришел сюда не ради этого сборища, а чтобы в какой уже раз послушать «Hey Joe» и «Me and Bobby McGee». Но разве он приходил туда, где стоял jukebox, не для того, чтобы, так сказать, удрать от современной действительности? Очень может быть. Но в противоположность такому утверждению случалось, как правило, вот что: рядом с «его» jukebox все, что находилось вокруг, приобретало черты явного присутствия действительности. Если удавалось, он усаживался в этих заведениях на такое место, откуда ему было видно все помещение и хотя бы краем глаза еще маленький кусочек внешнего мира. И это приводило иногда — в симбиозе джукбоксы и полета фантазии, без ненавистного ему принудительного наблюдения — к усилению ощущения

присутствия действительности, а может, еще и некоторых других моментов. И то, что в них при этом конкретно материализировалось, были не столько бросающиеся в глаза внешние детали или раздражители, сколько обычные неприметные вещи, их формы и краски, и такая, более насыщенная внутренне действительность казалась ему чем-то очень ценным — не было для него более драгоценного и достойного увековечивания материала, чем она; это как своего рода трепетное ожидание чего-то, возникающего при чтении пробудившей к себе интерес книги. Ведь *говорило же* это о чем-то, когда человек просто шел, куст шелестел на ветру, желтый автобус поворачивал к вокзалу; уличный перекресток имел форму треугольника, в дверях стояла официантка, на бортике бильярдного стола лежал мел, шел дождь и и… и… и… Да, так оно было — реальная действительность обретала прочный скелет! И тогда внимания удостаивались даже мелкие привычки, свойственные «нам, любителям jukebox», пусть вариаций было и не так много. Один, например, нажимая на клавиши, чаще упирался рукой в бок и чуть наклонялся вперед, почти касаясь автомата, другой выбирал пластинку двумя руками — широко расставив ноги и соблюдая дистанцию, вытягивал при этом руки вперед, словно техник-оператор, у третьего пальцы взлетали над клавишами, словно у пианиста, и он тут же отходил от автомата, уверенный в своих действиях, или оставался стоять, дожидаясь результата эксперимента, пока не раздавались первые такты (и после этого исчезал, возможно, даже не дослушав мелодию и покинув бар), а кто-то принципиально вынуждал других ставить все его мелодии, выкрикивая от стола заученные наизусть номера хитов; причем общим для всех них было, что они видели в джукбоксе некое подобие живого существа, вроде домашнего животного: «он что-то капризничает со вчерашнего дня», «уж право не знаю, что это с ним сегодня, ровно как спятил». Казались ли ему все эти автоматы действительно на одно лицо? Нет. Были явные различия — от четкого неприятия до удивительной нежности и даже почтительного уважения. К продукту серийного производства? К следам человеческих рук на нем. Даже сама форма автомата со временем значила для него все меньше и меньше. Если спросить его, jukebox мог быть продуктом военных лет, даже из дерева, или называться вместо «Вурлитцера» просто «музыкальным ящиком», «Симфонией» или «Фанфарой», а сам корпус оказаться порождением немецкого экономического чуда, лишенным всякой подсветки, из темного непрозрачного стекла, бесшумным и по виду как бы вовсе непригодным к употреблению, но как только в него попадала монетка, тут же вспыхивало табло,

оповещая о богатстве выбора, а стоило нажать клавишу, нутро его оживало и слышалось жужжание поиска, сопровождаемое блужданием светового луча по темному переднему стеклу. Теперь для него не так уж и важен был тот особый звук, шедший откуда-то из глубины, словно из-под множества наслоенных друг на друга пластов, некое своеобразное трубное завывание, которое порой и можно-то было услышать, только если специально вслушиваться, подобно тому — так это ему представилось однажды, — как слышится в романе Уильяма Фолкнера «Дикие пальмы» рев реки, затопившей своими водами землю до горизонта: откуда-то из глубины, из-под тихих стоячих вод бескрайней стихии, «the roaring of the Missisipi»[19]; при необходимости он довольствовался теперь репродуктором на стене, откуда выходил еще более плоский или гремящий, как жесть, звук, хуже, чем из транзистора, а уж в крайнем случае, когда в общем гуле бара тонул любой звук, ему достаточно было знакомого ритмичного вибрирования воздуха, в котором он мог различить припев или хотя бы один такт выбранной им — единственное условие — музыки, из чего потом внутри него самого узнаваемо звучал весь хит, от вибрации к вибрации. Некую неприязнь, наоборот, он испытывал теперь к тем музыкальным автоматам, репертуар которых не отличался индивидуальностью, не давал возможности сделать непосредственно «личный» выбор, будучи частью стандартного набора пластинок, кочующих из одного бара в другой, через всю страну — одинаковые, без вариантов и поставленные во все заведения, как бы навязанные каким-то безымянным центром, — и он представлял его себе чем-то вроде мафии в музыкальном мире. Такие серийные блоки — а во всех странах теперь, кроме них, ничего другого и не было — без разнообразия, выбрать можно было только то, что модно в данный момент, и которые сразу можно было вычислить, даже если они были запущены в досточтимый «Вурлитцер», не по отпечатанным на пишущей машинке разноликим буковкам, а по набранной типографским способом программке — ровные строчки с именами певцов и названиями исполняемых ими хитов занимали теперь все табло. Но странным образом он избегал и те музыкальные автоматы, где программа заложенного в них комплекта пластинок, как меню некоторых ресторанов, сверху донизу и слева направо была написана от руки одним и тем же почерком, хотя, как правило, именно в этих случаях каждая пластинка словно специально предназначалась для него одного. Ему не нужно было, чтобы такой набор олицетворял собой какие-то продуманные действия, свидетельствовал, например, о благородстве порывов, подлинном

знании дела, посвященности в тайны, стремлении к гармонии, — нет, он должен был демонстрировать полную случайность, частично включая в себя незнакомые мелодии (с годами их становилось все больше и больше), многие из которых обращали его в бегство, но среди них попадались иногда, как жемчужинки, и такие (достаточно было, если среди бесчисленного множества отпечатанных названий отыскивалось несколько), которые отвечали в тот момент его душевному настрою. И такие музыкальные автоматы тоже можно было определить по внешнему виду их табло: по разношерстности напечатанных и написанных от руки названий и прежде всего по количеству много раз заменявшихся строчек, и все разными почерками — то выведенные по-печатному буквы, чернилами, а то небрежно написанные, чуть ли не в стенографической манере, свойственной секретаршам, однако в большинстве своем, несмотря на разницу в завитках и наклоне букв, начертанные все же с особой тщательностью и ответственностью, а некоторые, похожие на детские каракули, смотрелись словно нарисованные, и среди слов с множеством ошибок то и дело попадались совершенно правильно написанные (со всеми диакритическими знаками и дефисами), и если это делала официантка, то для нее это были сплошь иностранные фамилии и слова; бумага местами уже пожелтела, буквы выцвели, стали слепыми, их было трудно разобрать, возможно, полоски наклеивались одна на другую, новые свеженаписанные названия поверх, но старые просвечивали сквозь них, становились уже нечитабельными, однако догадаться еще было можно. Со временем он все чаще бросал сначала взгляд на табло с предлагаемым выбором пластинок, а потом выискивал «свои», обозначенные разными почерками, даже если там оказывалась всего одна-единственная из них. И случалось иногда так, что именно ее — будь она для него прежде чужой и абсолютно неизвестной — он потом сидел и слушал. Так, однажды в алжирском баре в предместье Парижа, стоя перед jukebox (на табло сплошь французские названия, тотчас же говорящие о засилии мафии в шоу-бизнесе), он вдруг увидел с краешку наклеенную полосочку, написанную от руки, очень большими неровными буквами, каждая четко выписана, словно восклицательный знак, и выбрал этот контрабандой прошмыгнувший сюда арабский шлягер, а потом поставил его еще раз, и даже сейчас в ушах у него сразу зазвучала та звонкая арабская мелодия «SIDI MANSUR», что означало, как сказал очнувшийся на мгновение из своего оцепенения бармен, название «особого, не совсем обычного места» («просто так туда не ходят!»).

Означает ли это, что он сожалел об исчезновении своих джукбоксов, этих атрибутов вчерашнего дня, лишенных скорее всего перспективы второго рождения?

Нет. Он только хотел, прежде чем и сам окончательно потеряет их из виду, запечатлеть это явление и тем самым показать, что мог значить такой неодушевленный предмет и, прежде всего, что за звук он рождал.

Небольшое кафе-столовая при спортивном комплексе на окраине Зальцбурга. На открытом воздухе. Светлый летний вечер. Джукбокс выставлен наружу, рядом с открытой дверью. На террасе от стола к столу снуют различные посетители — голландцы, англичане, испанцы, — беседуя на своих языках, это заведение обслуживает одновременно и кемпинг, раскинувшийся по соседству перед лётным полем. Начало 80-х годов, аэродром далеко еще не «Salzburg Airport», последний самолет совершает посадку с заходом солнца. Деревья между террасой и спортивной площадкой — березы и тополя, в теплом воздухе непрерывное трепетание листвы на фоне оранжевого от заката неба. За одним из столиков сидят местные, члены спортивного рабочего клуба «Maxglan» и их жены. Футбольная команда, пока еще во второй лиге, снова проиграла сегодня после обеда свой очередной матч и, по-видимому, сойдет с дистанции. Но сейчас, этим вечером, опечаленные и расстроенные игроки говорят, пока у стойки происходит постоянное хождение туда-сюда — от палаток и назад, — в том числе и о деревьях. Они внимательно разглядывают их: какие они стали большие и какими прямыми выросли с тех пор, когда они, члены клуба, тогда, в те далекие времена, собственноручно и все вместе выкопали эти молодые деревца из черной болотистой топи и посадили их здесь рядками в жирную глинистую почву! Песню, вырывающуюся из джукбокса, стоящего возле дверей, в паузах которой слышно, как шелестит и шумит листва и доносится размеренный гул голосов, тающий в медленно меркнущем дне и наступающей вечерней темноте, поет бодреньким голосом Хелен Шнайдер, а называется она «Hot Summer Nites». Внутри кафе пусто, и ветерок задувает в открытые окна белые занавески. Вдруг он замечает, что в углу все же кто-то сидит — молодая женщина, она беззвучно плачет.

Многие годы спустя. Гостиница — gostilna — на самой макушке югославского Карста, недалеко от магистрали со стороны Штаньел (или Сан-Даниеле-дель-Карсо). Внутри гостиницы. Мощный старомодный джукбокс рядом со шкафом, на пути в клозет. За прозрачным пластиковым стеклом виден круг с комплектом пластинок и играющая тарелка. Чтобы привести автомат в действие, бросают не монеты, а жетоны, и потом нужно

не нажать на клавишу — здесь она всего одна, — а покрутить сначала колесико, пока на шкале не совместятся желанный номер и бегающая черточка. Автоматический тонарм положит затем не без элегантности пластинку на диск, напоминая своими движениями согнутую в локте руку, когда безупречный в своем фирменном облачении официант сервирует для вас стол и ставит заказанное блюдо. Gostilna весьма просторная, со многими залами, в которых в этот ранний осенний вечер — за окном на плато свирепствует, не зная устали, пришедшая с северных гор burja, или bora — полно людей, в основном только молодых: прощальный бал по окончанию школы — выпускники старших классов со всех республик Югославии; они встретились здесь впервые и пробудут несколько дней. Неожиданно сквозь ветер доносится с гор типичный гудок местного поезда, глухой низкий звук средства передвижения по Карсту. Напротив привычного портрета Тито на стене висит такой же цветной, но еще больших размеров портрет не столь известной личности — бывший владелец, покончивший жизнь самоубийством; его жена говорит, он был родом не отсюда (по-ихнему так, если он даже родился в соседней деревне в ближайшей долине). Песню, которую в этот вечер вызывает нажатием клавиши один ученик за другим и она разносится по всем залам, поют как патриотическую, при этом по-детски задорно и весело, дружно и хором, можно сказать, от имени всего народа, ритм танцевальный, а в припеве только одно-единственное слово — Югославия!

И еще раз несколько лет спустя. Снова летний вечер, сумерки еще не сгустились, на сей раз на итальянской стороне Карста, точнее на границе между поднявшимся однажды из моря известняковым плато и низменной долиной, прорезанной здесь железнодорожными путями станции Монфальконе; по другую сторону от нее сразу начинается крутой подъем на плато, каменная пустыня прикрыта на этом участке путей небольшим сосновым леском, а по эту сторону — железнодорожный вокзал, окруженный совершенно другой растительностью: кедры, пальмы, платаны, рододендрон, непременный фонтан и щедро вытекающая из питьевого источника вода при беспечно открытом на перроне кране. Jukebox стоит в баре, под настежь распахнутым окном при послеполуденной жаре, дверь, тоже нараспашку, выходит прямо на железнодорожное полотно. В баре практически нет никакой мебели, а та, что есть, сдвинута в сторону там сейчас моют полы. На мокрых каменных плитах террасы играют блики, отражаясь от jukebox, — блеск, который постепенно исчезает по мере просыхания плит. В окне появляется очень бледное лицо барменши, особенно по сравнению с загорелыми лицами

ожидающих на перроне пассажиров. После отправления скорого поезда Триест — Венеция здание вокзала кажется опустевшим; только на скамейке борются друг с другом двое подростков и громко вопят при этом, вокзал для них в данный момент — игровая площадка. Из темноты между соснами Карста по ту сторону дороги с шумом вылетают ночные бабочки. Длинный запломбированный товарный состав ползет, погромыхивая, мимо, единственные светлые пятнышки на темных вагонах — покачивающиеся на тоненьких проволочках маленькие пломбы. В наступившей после этого тишине — промежутке между свистящими полетами последних ласточек и бесшумным появлением летучих мышей — разносятся далеко вокруг звуки играющего jukebox. Подростки еще какое-то время продолжают возиться. Не для того чтобы послушать музыку, а скорее случайно, из своих контор выходят на набережную двое чиновников, а на пороге зала ожидания появляется уборщица. И вдруг повсюду обнаруживаются незамеченные до той поры фигуры. На скамейке под самшитом — спящий. На траве позади туалета расположилась группка солдат — без малейших признаков багажа при себе. На перроне в сторону Удине стоит, прислонившись к столбу, огромный негр, тоже без багажа, в одной рубашке и брюках, впившихся ему в живот. Из глубины соснового леска вылетает, делая крутые виражи вокруг друг друга, парочка голубей. Такое впечатление, что все эти люди никуда не собираются уезжать, что все они — местные жители или служащие при вокзале и железнодорожных путях. Центром этого места является фонтан с пенящейся, разбрызгиваемой и разносимой легким бризом пресной водой и мокрыми следами от множества подошв вокруг на асфальте, опять подошвы, к которым припечатывает свои следы и последний из только что утоливших свою жажду. Чуть дальше, вдоль путей, туда можно дойти пешком, выходит из-под земли на поверхность карстовая подземная река Тимаво, с тремя рукавами, которых во времена Вергилия, если верить «Энеиде», было девять, она быстро становится широкой и впадает затем в Средиземное море. В песне, что играет jukebox, рассказывается о письме молодой женщины, судьба забросила ее далеко от родных мест, а заодно и от всего привычного и того, о чем она мечтала, — сама она олицетворяет собой теперь мужество, а может, и удивительную тоску и печаль; песня разносится в вечерней тишине окрест Монфальконе и называется «Анкоридж, Аляска», а поет ее от имени той далекой подруги голос Мишель Шокед.

В течение тех нескольких недель в Сории он рассуждал иногда так: «Я делаю свою работу. Она отвечает моему духу».

Одновременно тайком закрадывалось и другое соображение: «У меня есть время» — без всякой задней мысли, как абстрактная идея. Шел дождь, и за окном каждый день бушевала буря, гуляя по открытому кастильскому плоскогорью, и он использовал свои карандаши, затыкая шторы в щели в оконных рамах. Но еще больше ему досаждали шумы. Покончив с рыбьей чешуей, внизу ежедневно принимались за разделку рыбы, причем топором, помимо непривычно огромных рыбин еще и разных туш домашнего скота; милые его сердцу извилистые тропинки за пустырем неожиданно превратились в трассы для мотокросса. (Сория, как он узнал позже, принимала даже участие в чемпионате Европы.) По телевизору можно было наблюдать этот вид спорта: летящие по воздуху игрушечные фигуры героев-участников завораживающей видеоигры, а на деле жужжание шмеля вокруг его головы во время работы за письменным столом казалось ему в сравнении с тем сплошным раем. Каждый раз он возвращался с прогулки полный сил — согласно его пониманию — назад к своей работе и тут же терял их в этом гвалте. Грохот и треск разрушали не только что-то важное в данный момент, они крушили все и навсегда. Самое печальное было то, что ему грозила опасность начать пренебрегать таким процессом работы, как прочувствование образов и их полноценное фиксирование на бумаге, что требовало от него абсолютной отрешенности от мира. С другой стороны, в полной тишине он действительно как-то выбивался из колеи, поддавался слабости и впадал в сомнение, хуже того — в безнадежность, а выбравшись из этого и возвратясь назло всем бедам к своему ремеслу, тут же чувствовал себя окрепшим. Ежедневно он делал крюк, огибая фасад Санто-Доминго, — нет, в противоположность новостройкам за ней, он шел вдоль низко расположенного фронтона. От него исходил покой — требовалось только вобрать его в себя. Удивительна все-таки сама манера повествования, запечатленная в камне божественных скульптур: Ева, приданная Господом Адаму, уже с первого момента стоит спиной к спине со своим мужем, когда он в следующей за этим сцене смотрит на древо познания, а весть о воскрешении, переданная одной из тех женщин первому в длинном ряду апостолов, мгновенно распространяется дальше, это видно по их говорящим позам; и только последний застыл в неподвижности, похоже, еще не знает ничего. До работы он ходил маленькими шажками, после работы — большими, но не от ощущения триумфа, а потому что кружилась голова. Подъем в гору заставлял его глубже дышать и яснее думать, только дорога не должна была быть слишком крутой, иначе мысли в его голове скакали, как бешеные. Точно так же маршруту вдоль течения реки

он предпочитал другой — против течения, так ему казалось, что когда идешь навстречу мощному потоку воды, получаешь часть ее энергии движения. Если ему хотелось уклониться от мучительных копаний в себе и раздумий, он выбирал маршрут по шпалам отслуживших свое железнодорожных путей Сория — Бургос или шел еще дальше, за город, где царила полная темень, и он должен был следить за каждым своим шагом. Возвращаясь из мрака назад на освещенные улицы города, он был в таком напряжении от ходьбы на ощупь, что стремился скорее расслабиться, глядя на вереницу скульптур Санто-Доминго, и освободиться от застывшей маски на лице со сведенными скулами. Он повторял свои маршруты, только немного варьировал их ежедневно; при этом у него было такое ощущение, что остальные пути-дороги ждут не дождутся, когда придет и их черед.

На променаде Антонио Мачадо лежали годами выбрасываемые носовые платки и презервативы. Днем на пустоши гуляли кроме него, как правило, только старики, в стоптанных башмаках и обычно в одиночку; прежде чем высморкаться, они обстоятельно вытаскивали тщательно сложенный носовой платок, разворачивали его и встряхивали. Он взял себе за правило приветствовать, до того как сесть работать, хотя бы одного из них, намереваясь услышать ответное приветствие; не испытав этого мига улыбки, он не хотел возвращаться в номер; иногда он даже специально останавливался, давая себя обогнать, чтобы иметь возможность сказать «hola!» и кивнуть головой. А еще раньше он сидел в центральном кафе Сории у большого окна и читал ежедневно с помощью словаря газету. Llavero означало «кольцо для ключей»: подняв над головой связку ключей, женщина участвовала в уличной демонстрации в Праге; dedo pulgar — большой палец: американский президент поднял свой большой палец в знак успешного турне по Панаме с впрыскиванием крови; puerte giratoria значило «вращающаяся дверь» (через такую дверь вошел когда-то Сэмюэл Беккет в знаменитое парижское кафе «Клозери-де-Лила»). Весть о казни супружеской четы Чаушеску он прочел не то чтобы с удовлетворением, а скорее со знакомым и вновь пробудившимся сейчас ужасом перед содеянным. Когда бы это ни случалось, он каждый раз находил разгадку в характерах Теофраста и испытывал ко многим из них, во всяком случае к некоторым их чертам — в которых, возможно, узнавал свои — известную нежность; ему казалось, что слабость и глупость суть признаки одиноких людей, которые не нашли общего языка с обществом, в данном случае с древнегреческим городом-государством, и чтобы каким-то образом все-таки вписаться в него, вели с храбростью и

отчаянием эту свою комичную игру; и если они слишком усердствовали в том, вели себя, как юнцы, много хвастались или, что особенно бросается в глаза, не были «нужными людьми в нужный час», то чаще всего это происходило от того, что они не смогли найти своего места среди других, в том числе своих детей или своих рабов. Отрываясь от чтения, он то и дело смотрел в окно на платан с остатками редкой листвы или на голый клен рядом с ним, где на ветках сидели воробьи, чувствуя себя под надежной защитой, если, конечно, не было ураганного ветра, причем сидели так тихо, что смотрелись как весенние почки, а вздрагивающие от малейшего дуновения ветерка и трепещущие зубчатые листья платана, напротив, казались вспархивающими птицами. Самое сильное впечатление от Сории он испытал внизу у моста, перекинутого через реку, меньше — при виде его каменных арок и по-зимнему темных, медленно текущих масс воды, чем от таблички в центре моста — RIO DUERO. На одном из баров поблизости он заметил вывеску «Alegria del Puente» — «Радость (праздник) моста» — и, прочитав, тут же, не задумываясь, сошел с моста и сделал крюк — rodeo, чтобы попасть туда. На береговых откосах, там, где это не были голые скалы, обнажились от векового ветра и непогоды круглые и гладко отшлифованные валуны, на руинах городских стен, оставшихся далеко за городом, ветры столетий испещрили желтый песчаник, промыли лунки и желобки, нанесли рисунок, и он уже видел, что некоторые старинные дворцы на Plasa Mayor[20] стоят на природном фундаменте из намертво схваченных галечных пород, опустившихся в далекие времена на дно ледниковых озер. Уметь хотя бы немного читать природную карту ландшафта, проходя мимо, было бы очень по-земному, но он уже знал, что география в Испании всегда была служанкой госпожи истории, ведавшей завоеваниями и расширением границ, и только сейчас стали больше обращать внимания на послания «гения места». Иногда краски оживали именно зимой. Как только небо становилось серым, начинали зеленеть оставленные под паром поля, а тропинки через захламленный пустырь напоминать цветом мшаник. И в тот момент, когда вокруг все замирало в зимних сумерках, гибкие ветки шиповника казались ярко-красными арками. Со свистом разрезая воздух, поднялась пара сорок, их крылья мелькали, как быстро крутящиеся белые колеса. В те дни, когда не было дождя, по городу носились маленькие пылевые вихри, навевая воспоминание о лете. Тени облаков скользили по голому плато, словно вырвались из подземелья, и хотя тени от облаков есть везде, здесь, в Кастилии, их родина. В утренние часы ни ветерка, и северную, и восточную сьерру можно

увидеть при ясном солнечном свете в снегу, и хотя обе горные гряды находятся на расстоянии короткого воздушного перелета, он видел оба сияющих склона в часы безветрия пятнистыми от неподвижно лежащих на них теней облаков. Мысли его настолько были заняты снегом, что однажды он невольно стряхнул снег с подошв перед входом в дом. Несколько раз ночное небо ненадолго прояснялось, как раз когда он ощупью пробирался по пустырю (он сам себя загонял туда нарочно), и тем удивительнее казалось, как Кастор и Поллукс «железно» соблюдают дистанцию братьев-близнецов, Венера привычно слепит своим ярким сиянием, гигант Альдебаран по-арабски таинственно сверкает красным светом, а пять ярких звезд Кассиопеи, образуя фигуру W, широко раздвигают ноги, Большая Медведица ломает под углом ручку ковша, Заяц пытается удрать от охотника Ориона и стремительно несется по горизонтальной прямой через весь небосвод, а Млечный Путь с его бесчисленными дельтовидными скоплениями являет собой бледное отражение изначальной вспышки универсума. Странное это чувство «длинного времени» в период его декабрьского пребывания в Сории. Уже после первого дня работы за письменным столом он увидел внизу реку, и тут же мелькнула мысль: «Вот она, старая Дуэро!»; когда же в первый уик-энд он пропустил прогулку и не прошел мимо Рио-бара, то сидя потом внутри перед круглой железной печуркой, он подумал: «Я целую вечность не видел этот серый цилиндр»; а едва пробыв здесь неделю и огибая автобусную станцию, вспомнил: «Вот здесь я вышел с чемоданом в руке прямо в дождь!» Среди завывания бури в траве под ногами барахталась, неуклюже передвигаясь, черепаха. У листьев платана, прежде чем они опали, переломились черенки, размочалились до ниток и не смогли удержать лист. В раскисшем от дождей огороде копался петух, там валялись на земле невызревшие помидоры, его огненно-красные, перья трепыхались, словно знамя, — то ли сами по себе, то ли на ветру? Его геральдическим животным могла бы, собственно, стать собака, которую он видел вечером ковыляющей на трех лапах и возвращающейся домой: он в конце длинного, как день, пути, тоже, как правило, прихрамывал на одну ногу. Однажды, когда Сория, если верить газетам, не была самым холодным городом Испании, он испытал разочарование: по главной улице несли цветочный горшок, а в нем растение с красными верхними листьями — «рождественская звезда», и это при зеленых, еще не опавших и всегда мокрых листьях платана, за все недели ни на день не исчезали лужицы в ямках вокруг корней. В темно-сером тумане еще более угрожающий вид приняли обсыпавшие горные сосны белые коконы, из которых вылезали

полчища личинок, пожиравших хвою. На Рождество лил такой сильный дождь, что во время его дневной прогулки по городу кроме него на улице появился только один-единственный воробей. А затем из местной тюрьмы вышла без зонтика очень маленькая женщина и ее большой сын, и они пошли по превратившемуся в месиво полю к небольшому бараку, и он представил себе, что они навещали за высокими стенами своего родственника, одного из басков, объявившего голодовку, и жили в том бараке, дожидаясь, когда его выпустят. Вечером вдруг блеснула среди беспросветного дождя яркая молния, и ее свет с силой ударил ему в лицо, а когда он поднял голову, то увидел приближающуюся машину с побелевшим верхом, а в черной ночной вышине взметнулись вдруг несколько падавших снежинок и поплыли по воздуху. «Nieve!»[21] — подумал он от радости по-испански, и это было с ним впервые. В баре зазвучало, неожиданно без извечной цыганской тоски и обреченности, радостно и уверенно, подобно доброй вести, фламенко, и у него опять разыгралось воображение, и он подумал, что это и есть самый адекватный способ воспеть — не то чтобы «Рождество», а скорее «navidad», само рождение; именно так рассказывал один из тех пастухов, что он пережил в ту святую ночь, и его рассказ был, конечно, одновременно и танцем. Как и повсюду в мире он видел в эту ночь на улицах людей, раскрывших при первых каплях дождя всегда имеющийся при себе зонт, вот и в Месету пришла эта мода, когда девушка, входя в кафе, сдувает падающие на лоб волосы. Раскатистый гром и шквал ветра, как во время стартового урагана при взлете самолета (ни разу не услышанного им здесь, над этим городом), пронесшийся по тополям вдоль Дуэро. Огромная хохлатка старательно чистит клювом гребешок маленькому петушку, стоящему на одной ноге в грязи. На ветках голого миндального дерева уже набухли белые почки, готовясь к цветению. Большинство неприятностей, составлявших его прежнюю жизнь и прочно угнездившихся в нем самом, остались далеко отсюда, где он обжился и начал наконец работать, и тем не менее именно в Сории он понял, что нельзя надолго вырваться из той жизни, которой здесь сейчас не было. На древесных корнях, прорезавших тропинку, лежал иней. Один раз громыхнуло где-то далеко за городом, но он в тот момент уже сидел за письменным столом, и ему представилось, что это удар колокола.

Под конец ему казалось, что он сумел заглянуть в самые сокровенные уголки города (он удерживал их в своей памяти, все эти «rincones», как удерживал слова). Он посетил не меньше сотни заведений, заходил в них во время своего добросовестного

прочесывания города, и тут выяснилось, что в маленькой Сории больше сотни баров, в боковых улочках и переулках, часто без всякой вывески над дверями, — укрытые, как и многое другое в Испании, от посторонних глаз и известные только местным жителям — как бы и предназначенные только для них. То и дело он находил там на стенах рядом с объявлениями о разрешении сезонной охоты и портретами знаменитых тореро стихи Антонио Мачадо, а также настенные календари, некоторые из них были исчерканы вдоль и поперек, а на одном даже красовалась свастика, но, как ему показалось, не из политических убеждений, а потому что истоки ее возникновения как древнего символа плодородия коренились, как и остальных получивших предпочтение настенных украшений, в самой природе. На удивление во многих заведениях сидели только молодые мужчины, а еще больше заведений были исключительно, даже категорично, без права входа для других посетителей, барами для стариков (с одним столиком в углу для старых женщин): судя по всему, гораздо более строгое разделение, чем любое другое по политическим мотивам. Большинство пенсионеров перебирались из провинции в столицу и проводили здесь свои «юбилейные» годы, и если не играли в своих барах в карты, то тихонько сидели в одиночестве за столиком или бродили и непрерывно искали что-то в других помещениях. Старые и молодые и он в придачу, к тому же иностранец: такие же, как и у него, лежали на стойке их белые в зимний сезон руки, а в свете уличного фонаря, к примеру, все та же бетонная стена за окном показывала свои шрамы, оставшиеся после рухнувшего стального каркаса, убившего тогда, по его прибытии, двух рабочих.

Помимо любопытства: увидеть вариации таких похожих друг на друга маленьких городов, его подстегивало желание найти именно в Сории jukebox, первоначально опять как бы по обязанности, а позднее все больше потому, что сейчас для него было самое подходящее время: зима, работа, вечера после утомительного пути под проливным дождем. Однажды довольно далеко за городом на дороге для гужевого транспорта в сторону Вальядолида он услышал доносившиеся из придорожного бара типичные басовые звуки, которые могли исходить только из флиппера с набором «ужасов»; в баре при бензоколонке он увидел надпись ВУРЛИТЦЕР — на автомате для сигарет; в ветхом рухнувшем здании в casco[22] Сории — кругом только груды мусора, — он обнаружил в бывшем баре, выложенном по-андалусски кафелем, табло древнего-предревнего автомата марки «Marconi», предшественника jukebox, служившее обыкновенным настенным украшением; единственный раз, когда ему удалось

увидеть в Сории предмет своих вожделений, это было в кино «Рекс», в каком-то английском фильме, действие которого разворачивалось в начале 60-х годов — вот там он и стоял, в задней комнатке, ради того момента, когда герой фильма по дороге в уборную пройдет мимо него. Единственным jukebox в Испании, так сказать, живьем остался для него тот, что он увидел в Линаресе, в Андалусии. И тогда, той весной, ему тоже было крайне необходимо найти jukebox: работа и шумное веселье Пасхальной недели. Тот музыкальный автомат, на который он случайно наткнулся перед самым своим отъездом, давно отказавшись от поисков оного, радостно приветствовал его в подвальчике на одной из боковых улочек. Все заведение было размером с каморку для хранения разного барахла — без окон, только дверь. Открывалось оно по воле хозяина и то только по вечерам, при этом вывеска оставалась неосвещенной — надо было подергать дверь, чтобы понять, не открыто ли сейчас случайно. Владелец — старый человек, включавший верхний свет, только если появлялся посетитель — все время находился с музыкальным автоматом наедине. А у того была такая особенность, что все ячейки для названий были пустыми, как если бы на табличке со звонками внизу многоквартирного дома не было фамилий; казалось, автомат не функционировал, как и само заведение, — только комбинации из букв и цифр в самом начале пустых полосок. Зато стены повсюду вкривь и вкось, до самого потолка, были увешаны обложками от пластинок, а на них вручную помечены коды названий, и таким путем, включив автомат, можно было услышать по желанию выбранную пластинку — чрево как бы выпотрошенного автомата оказалось набитым битком. И как только внутри стального ящика раздалось монотонное ворчание, так сразу стало казаться, что здесь очень много места, и в заброшенном подземелье разлилось вокруг столько покоя — среди всей испанской и своей собственной суеты. Это было на calle[23] Сервантеса в Линаресе, напротив закрытого кинотеатра с обрывками анонса «Estreno», что значит премьера, с ворохом разлохмаченных старых газет и крысами в зарешеченном фойе, в то время, когда за городом цвели сухие полевые ромашки с жесткими головками, больше тридцати лет после того, как на арене Линареса был убит быком Мануэль Родригес, более известный как Манолете. Несколько шагов вниз от кафе, носившего название «El Escudo» — герб, — разместился в Линаресе китайский ресторан, для чужестранца иногда такой же приют тишины и покоя, как и jukebox. И в Сории тоже представилась возможность встретить такой же китайский ресторанчик, совершенно неожиданно: тот словно прятался от

чужих глаз и казался закрытым, но дверь поддалась, и как только он вошел, тут же зажглись большие бумажные фонарики. В тот вечер он был единственным посетителем. Он никогда еще не видел в этом городе азиатскую семью, обедавшую за длинным столом в углу и потом бесшумно исчезнувшую на кухне. Осталась только девушка, она молча обслуживала его. На стенах — изображения Великой Китайской стены, давшей название заведению. Странно, но из пиалы с темным супом при погружении в него фарфоровой ложки выглядывали светлые головки цветков сои, здесь, на кастильском плато, они смотрелись как картинки мультфильма, а за окном в ночной буре хлестали в это время по стеклу голые ветки тополя. Молоденькая девушка, освободившись, стала за соседним столиком выводить тушью в тетрадке китайские иероглифы, прижимая их плотно-плотно друг к другу, причем так ровненько и с такой аккуратностью, чего никак нельзя было сказать про его почерк на протяжении всех этих недель (и не только порывы ветра, дождь или сумерки, когда он работал на природе, были тому причиной), и глядя сейчас на нее, ту, которая здесь, в этой местности, в Испании, была несравнимо более чужой, чем он, он с удивлением вдруг почувствовал, что вот теперь, вот только сейчас он действительно оторвался от тех мест, откуда был родом.

notes

Примечания

1

Музыкальный автомат jukebox *(англ.)*.

2

Время не терпит суеты (исп.).

3

И я увидел — она стоит там *(англ.)*.

4

Теофраст (ок. 372 до н. э. — ок. 287) — древнегреческий философ и естествоиспытатель, ученик Платона и Аристотеля, автор «Характеров» — сборника из 30 кратких характеристик человеческих типов (льстец, пустослов и т. д.), послужившего образцом для многих моралистов нового времени. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

5

«Полный путеводитель по идентификации музыкальных автоматов фирмы „Вурлитцер“» (*англ.*). «Вурлитцер» — немецкая фирма музыкальных инструментов, основанная в XVI в., затем, после эмиграции в США Ф. Р. Вурлитцера (1831–1914), — американская фирма музыкальных автоматов.

6

Подпольное питейное заведение во время действия «сухого закона».

7

Дешевый ресторанчик, бар, придорожное кафе, где установлен музыкальный автомат.

8

Это греческое слово лежит в основе слов *схоластика, школа, школяр.*

9

Карл Валентин (1882–1948) — немецкий писатель, поэт-кабаретист, исполнитель собственных сатирических куплетов.

10

Прямо к делу без обиняков (*лат.)*.

11

Имеется в виду Клагенфурт (центр словенской Каринтии), включенный по результатам плебисцита в состав вновь созданной Австрийской республики.

12

Имеется в виду Вена, где народные массы подняли протест против ультиматума Гитлера австрийскому канцлеру о предоставлении австрийским гитлеровцам полной свободы деятельности и о включении их в правительство.

13

«Прекрасный незнакомец» — популярный шлягер, исполнявшийся датской певицей Дёрте Колло.

14

Перемещение, «полеты» по воздуху во сне.

15

Сингл (*англ.)* — зд.: маленькая пластинка, на которой записана только одна песня.

Сосредоточенные, сконцентрированные (*исп.*).

17

Бездеятельные, апатичные, вялые *(исп.)*.

18

«Удивительная ночь» *(итал.)*.

19

Рев Миссисипи *(англ.)*.

20

Главная площадь *(исп.)*.

21

Снег *(исп.)*.

22

Центр города (*исп.*).

23

Улица (*исп.*).